



Леонид Карпов

Сатирическая  
энциклопедия  
Платона  
Похотливого.  
Том 5

**Леонид Карпов**

**Сатирическая энциклопедия**

**Платона Похотливого. Том 5**

*<https://litres.ru/74044283>*

*SelfPub; 2026*

**Аннотация**

Осторожно: эта книга вызывает острые приступы смеха и расширяет кругозор против вашей воли! Платон Похотливый – гений, эрудит и раб своего либидо. Он начинает за здравие – с макроэкономики, теологии или квантов, – а заканчивает за упокой, скатываясь в самый жесткий и уморительный монолог о бабах. Перед вами уникальная энциклопедия, которая сначала сделает вас умнее, а затем заставит покраснеть. Идеальное чтение для интеллектуалов, уставших от скучной и стерильной литературы.

# Содержание

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Тренд                          | 5  |
| Триггер                        | 8  |
| Трикстер                       | 11 |
| Трискайдекафобия, тердекафобия | 20 |
| Троллинг                       | 24 |
| Трюизм                         | 28 |
| Тюльпа                         | 33 |
| Турбулентность                 | 36 |
| Тутти                          | 39 |
| Тьюторство                     | 42 |
| Тэффи Надежда Александровна    | 45 |
| Ультиматум                     | 56 |
| Урбанизация                    | 59 |
| Ургентность                    | 63 |
| Утилитарность                  | 67 |
| Фамильяр                       | 70 |
| Фанаберия                      | 73 |
| Феминизм                       | 76 |
| Феминитив                      | 80 |
| Фертильность                   | 83 |
| Фетиш                          | 86 |
| Фиаско                         | 90 |
| Фидбэк                         | 94 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Фидуция                           | 98  |
| Физиогномика                      | 101 |
| Фикология, альгология             | 105 |
| Филактерия                        | 108 |
| Филигранность                     | 112 |
| Филистерство                      | 116 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 117 |

# **Леонид Карпов**

## **Сатирическая**

### **энциклопедия Платона**

#### **Похотливого. Том 5**

## **Тренд**

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей петербургской хрущевки, облаченный в тяжелый шелковый халат, и с меланхолическим видом созерцал колыхание занавесок. В его голове роились мысли о высшем порядке, о тех невидимых нитях, что управляют человечеством, заставляя миллионы сердец биться в унисон.

– Тренд, – торжественно произнес он, дегустируя слово на вкус. – Какое возвышенное понятие. Это же дух времени, *Zeitgeist*, выраженный в массовом устремлении к единой форме. Это когда индивидуальное «я» растворяется в коллективном экстазе новизны, подчиняясь великому закону циклической моды.

Платон Пантелеймонович искренне считал себя просветителем. Для него «тренд» был не просто словом из журнала, а целой философией. Он знал, что тренд – это то, что сегодня

на языке у всех, а завтра – в мусорной корзине истории. Это мощная волна, которая поднимает на гребень любую посредственность, если она успела вовремя «заскочить в струю». Будь то повальное увлечение ферментированным чаем или особый покрой брюк – Платон видел в этом сакральную геометрию общества.

В этот момент снизу, со двора, донесся резкий женский смех и звук лопнувшей резинки – это соседская девчонка в слишком коротких шортах пыталась завязать волосы в тугой хвост.

Платон Пантелеймонович замер. Взгляд его, вооруженный пенсне, остекленел, а высокопарность начала стремительно стекать с лица, обнажая нечто более приземленное.

– Тренд, значит... – прохрипел он, вплотную прижавшись лбом к стеклу. – А ведь если по-честному, без этого финти-флюшества, то любой тренд – это просто массовый гон. Вот взять этих девок. Сегодня в тренде «натуральность», а это значит что? Это значит, она подмышки не бреет, зато губищи раскатала так, что в замочную скважину не пролезут. И все как одна!

Он нервно дернул плечом, и халат распахнулся, явив миру несвежую майку.

– Это же чистое скотство, понимаешь? Тренд – это когда одна дала какому-нибудь блогеру, а остальные выстроились в очередь, потому что теперь так «носят». Это же стадное чувство, только прикрытое стразами. Видишь, как она виляет?

Это она в тренде «олд мани», типа из приличных. А посмотришь поближе – обычная давалка, просто фильтр на морду наложила модный.

Платон Пантелеймонович дернул свою козлиную бородку и сплюнул прямо на подоконник.

– Весь ваш тренд – это как общая койка в казарме. Сначала все хотят одну и ту же сумку, потом – одну и ту же позу в постели, а в итоге – один и тот же триппер на все поколение. И ведь прут, прут стадом! Если завтра станет трендом ходить с голой задницей и петь псалмы, так они ж первые булки раздвинут и заголосят. Тьфу! Гляди-ка, еще одна пошла... В трендовых колготках в сеточку. Знаем мы эти сети, туда только таких карасей, как я, ловить, чтоб потом за кошелек пощупать. Мода проходит, а чесотка остается, вот тебе и весь основной тренд, мать его за ногу.

Платон Пантелеймонович вдруг замер, озаренный страшной догадкой.

– Постойте... Если сейчас в тренде «осознанность», то это что же получается? Теперь каждая шалашовка будет требовать от меня не только пять минут позора, но и духовного слияния согласно графику? Нет, господа, такая конвергенция нам не нужна. Пойду лучше накапаю валерьянки и перечитаю Канта. Там хотя бы про «вещь в себе», а современные девки – они все «вещи снаружи», да еще и с платным доступом по подписке. Тьфу, срамота высокотехнологичная!

# Триггер

Платон Пантелеймонович Похотливый замер за столиком, надувшись, как породистый индюк, пытающийся проглотить истину в последней инстанции. Его пенсне, густо затуманенное парами кофе, превращало его глаза в два мутных яйца-пашот, в которых, по его мнению, отражалась вся скорбь интеллектуальной элиты. Обыватели мельтешили мимо, даже не догадываясь, что сидят в метре от эпицентра мирового смысла, замаскированного под человека в тесном жилете.

«Космос – это лишь неудачно выглаженная скатерть на столе вечности, – величественно рассуждал Платон Пантелеймонович, борясь с непокорной пуговицей на пузе. – Печально, что воля толпы просыпается только при виде бесплатного вайфая, а их представления о прекрасном заканчиваются там, где начинается скидка на прошлогодние смартфоны».

В этот момент за соседним столиком маленький мальчик, игравший с игрушечным револьвером, слишком резко нажал на спусковой крючок. Раздался сухой, металлический щелчок. Пружина внутри механизма сорвалась, приводя в действие боек.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взгляд остекленел, а мысль, доселе парившая в эмпиреях, хищно спикировала вниз.

– Вы видели это? – обратился он к сидевшей рядом даме в капоре, которая мирно доедала эклер. – Вы осознали механику момента? Это же триггер! Чистейшей воды пусковой элемент, аккумулирующий энергию для неминуемого финала.

Дама испуганно моргнула.

– Ведь что такое триггер в своей метафизической сути? – продолжал Похотливый, и голос его из бархатного баритона начал превращаться в маслянистый шепот. – Это та самая точка невозврата. Малейшее усилие пальца – и механизм, сдерживаемый доселе тугой пружиной, срывается с шептала. Пружина распрямляется, боек бьет в капсюль... Это же, мадам, чистейшая аналогия человеческого естества!

Он подался вперед, и его пенсне сползло на кончик носа.

– Вот вы сидите, такая вся из себя в кружевах, вся такая... недоступная, как теорема Ферма. Но стоит мне найти ваш внутренний триггер, нажать на этот потаенный рычажок под корсетом, и все! Трах-тибидох! Срывает все запоры, пружины в ваших чреслах начинают бешено колотить, и из благородной девицы вы превращаетесь в разгоряченную кобылицу, готовую нестись вскачь по грязным простыням бытия.

Дама поперхнулась кремом, но Платон Пантелеймонович уже вошел в раж. Его речь утратила лоск, а слова стали липкими и тяжелыми, как деготь.

– Все эти ваши «ах, оставьте» – это просто тугой взвод. А баба – она как та игрушка: нажми на нужную деталь, и

она выстрелит так, что мало не покажется. Вон, посмотри на официантку – идет, бедрами виляет, а сама в башке только и ждет, когда какой-нибудь мужик нажмет на ее «пусковой крючок». И плевать ей тогда на политику и погоду, будет сопеть в подушку, как заведенная машина, пока пружина не сядет. Вся жизнь, милочка, это одна большая грязная кнопка, на которую я, как истинный знаток человеческих... кхм... механизмов, не прочь надавить до самого упора.

Платон Пантелеймонович облизнул губы, в его глазах блеснул нездоровый огонек. Дама, бросив эклер, пулей вылетела из кофейни. Похотливый лишь удовлетворенно хмыкнул и потянулся к чужой чашке кофе. Логика была безупречна.

# Трикстер

Платон Пантелеймонович Похотливый застыл у окна кофейни в позе античного оратора, милостиво взирающего на суету петербургской мостовой. В его чертогах разума царил строгий порядок: там велись споры о корреляции котировок на Форексе с миграцией тунца и о том, не является ли нынешний упадок нравов следствием чрезмерного увлечения пастеризацией молока.

– Взгляните, милейший, – произнес он, не оборачиваясь к соседу по столику, но твердо зная, что тот внимает. – Эта небесная хмурь, эти рваные края туч... В них сквозит некая космическая недосказанность. Понимаете ли, мир в своей основе – лишь тонкая вуаль, наброшенная на лик абсолютной истины. Мы тщимся постичь предел сущего, находясь в плену у грубых законов физики.

Сосед, молодой человек в очках, вежливо кивнул.

– Кстати о материи, – продолжал Платон Пантелеймонович, разглаживая галстук. – Вы замечали, как антропология учит нас архетипу Трикстера? Это же центральная ось культуры! Трикстер – это дух беспорядка, плут, ломающий границы. Он и бог, и животное, он создает мир из хаоса, насмехаясь над догмами. Это Гермес, ворующий коров у Аполлона. Это Локи, подрезающий волосы Сиф. Это барон Мюнхгаузен, выворачивающий волка наизнанку, и не ради забавы,

а чтобы показать изнанку самого бытия. Это существо, которое живет инстинктом, не зная стыда, и именно через это бесстыдство обновляет застоявшуюся кровь цивилизации.

В этот момент в дверях кофейни появилась пышная дама. Пытаясь сложить зонт, она неловко запуталась в кружевах своего шарфа, споткнулась и, издав негромкое «ой», уронила сумочку. Из сумочки по полу весело покатилась губная помада.

Платон Пантелеймонович замер. Глаза его хищно сузились, а высокопарный лоб покрылся испариной.

– Вот! – воскликнул он, и голос его внезапно сорвался на маслянистый баритон. – Вот вам и Трикстер в чистом виде! Видите, как эта... особа... нарушила статику бытия своим филейным равновесием? Ведь что есть Трикстер? Это существо, движимое низом. А где низ, там и грех. А где грех, там и бабы, простите за прямоту.

Он наклонился к соседу, обдав того запахом дешевого одеколona и крепкого табака.

– Вы посмотрите на эту кобылицу. Она же специально зонтиком возится, чтобы кормой крутануть. Это же чистая биология, мать ее через колено. Трикстер у нее в юбке запутался! Она сейчас помаду поднимать начнет – и вы увидите ту самую «первозданную хаотическую энергию», от которой у честного эрудита пуговицы на брюках лопаются. У них же, у девок, вся эрудиция в коленках запрятана. Гляди, гляди, как нагнулась, стерва! Щас нам покажет и Локи, и барона

Мюнхгаузена, и все хозяйство до самого горизонта.

Платон Пантелеймонович шумно втянул носом воздух, и его благообразное лицо окончательно превратилось в маску похотливого фавна из подворотни.

– Какая там, к черту, трансцендентность? Там обычное мясо в кружевах, которое только и ждет, чтоб его в темном углу за жабры взяли под предлогом архетипического исследования. Трикстер, говорите? Да она любого философа за пятак вокруг пальца обведет, а потом еще и на сеновал заманит, чтоб он там свои догмы в солому растерял. Тьфу! Аж в горле пересохло от такой метафизики... Пойду, помогу этой «богине» помаду поднять, авось и мне кусочек хаоса перепадет.

Пошатываясь от внезапного прилива «просветления», Платон Пантелеймонович двинулся к даме, на ходу растягивая верхнюю пуговицу жилета.

Однако Похотливый так и не воплотил своего намерения, поскольку в этот момент в заведении появился куда более интересный персонаж. Подлинный Трикстер, без всяких преувеличений. Сама баронесса Мюнхгаузен. Она была стройна и ослепительна, а в ее взгляде читалась такая нечеловеческая уверенность, будто она только что лично переставила созвездия для более симметричного вида.

– А вот и подтверждение моих слов! – внезапно сменил тон Платон Пантелеймонович, мгновенно забыв о даме с зонтиком и плюхаясь обратно в кресло. – Стопроцентная

Трикстерша. Дух плутовства, воплощенный хаос! Как тот же барон Мюнхгаузен, который летал на ядрах, вытаскивал себя за косицу из болота и лгал так виртуозно, что ложь становилась правдой. Это существо, которое разрушает границы между возможным и невозможным.

Он подался вперед, и его голос из философского регистра перешел в приглушенное, влажное сопение.

– И ведь Мюнхгаузен, если присмотреться, – это чисто бабская натура! Такая же вертлявая и лживая. Вы посмотрите, как у этой Мюнхгаузенши в юбке под корсетом все ходуное ходит от жажды приключений. Трикстер – это же про то, как всучить подделку за оригинал. Вот и она: личико ангельское, а в мыслях – как бы какого дурака затащить в свое «болото» и там его, голубчика, за косицу-то и оттаскать. Грязное это дело, сударь, метафизика эта... У них же, у этих Трикстерш, вся правда – в глубине разреза, а все, что сверху – это так, для отвода глаз, чтоб мы, серьезные люди, не сразу поняли, к какому сеновалу нас эта баронесса ведет. Щас она шляпку снимет – и вы увидите, что там не мысли, а сплошные греховные фантазии, от которых у порядочного человека панталоны по швам трещат.

Баронесса, чей слух, очевидно, был так же остер, как и ее профиль, не удостоила Платона Пантелеймоновича даже поворотом головы. Она лишь щелкнула тонкими пальцами, и официант, словно загипнотизированный, подлетел к ней, склонившись до самого пола.

– Любезный, – произнесла она, и голос ее наполнил кофейню звоном холодного хрусталя, – уберите от этого господина кофейник. У него начался бред на почве застойных явлений в малом тазу. Он путает архетипы с анатомией, а это верный признак того, что мозг его окончательно переехал в область гульфика.

Платон Пантелеймонович, чей монолог был прерван на самом интересном «сеновальном» месте, побагровел и попытался выпрямиться.

– Сударыня! Я рассуждал о Трикстере! О великом плуте, о бароне Мюнхгаузене...

– О моем кузене? – баронесса наконец обернулась, и Похотливый почувствовал, как его «железная логика» дает трещину под этим ледяным взглядом. – Двоюродный брат действительно был великим мастером выворачивать мир наизнанку. Но он делал это, чтобы летать на ядрах, а не для того, чтобы подглядывать в замочные скважины, как делаете вы, прикрываясь Гегелем. Вы говорите, Трикстер – это обман, миф?

Она стремительно подошла к его столику и, наклонившись, прошептала так, что у Платона Пантелеймоновича зашевелились остатки волос на затылке:

– Знаете, как кузен вытащил себя из болота? Он схватил себя за то, что у него было самым крепким – за волю и честь. А вас, милейший, если потянуть за вашу «косицу», в руках останется только грязная сальная тряпица. Вы так погрязли

в своих фантазиях о «корсетных бунтах», что не заметили главного: реальность уже изменилась.

Она внезапно схватила его за галстук и слегка потянула на себя.

– Трикстер – это переход границ. Хотите перейти границу между пошляком и летающим объектом? Я могу устроить вам прогулку на Луну без скафандра. Там как раз не хватает одного самовлюбленного чучела для украшения ландшафта.

Платон Пантелеймонович икнул. Образ «грязных разговоров о бабах» в его голове внезапно сменился образом очень чистого и очень холодного открытого космоса.

– Я... я лишь хотел сказать... – пролепетал он, чувствуя, как его эрудиция осыпается сухой штукатуркой.

– Вы хотели сказать, что женщины – это хаос? – баронесса отпустила его галстук с такой силой, что он едва не опрокинулся вместе со стулом. – О да. Мы – тот самый хаос, который поглощает мелких грязных людишек, вообразивших себя знатоками женской души. Сидите тихо и пейте свой ячменный суррогат. И молитесь, чтобы я не вышла из себя – я терпеть не могу конкуренции в области самых правдивых на свете галлюцинаций.

Она развернулась на каблуках и вышла из кофейни, даже не взглянув на меню. Причем Платону Пантелеймоновичу показалось, что она прошла не через дверь, а прямо сквозь закрытое окно, не оставив ни трещинки на стекле.

Похотливый долго молчал, тяжело дыша. Наконец, он по-

вернулся к соседу, который все это время сидел с открытым ртом.

– Видали? – прохрипел Платон Пантелеймонович, дрожащими пальцами пытаюсь застегнуть воротничок. – Видали, какая... фурия? Чистый Трикстер! Я же говорил – все сводится к одному. Она же меня за галстук схватила... Это же явный призыв к доминированию! Ух, какая чертовка... Наверняка под платьем у нее спрятана плеть из кожи единорога. Грязные, сударь, грязные пошли архетипы... Совсем стыд потеряли...

Тут Платона Пантелеймоновича, который привык искать во всем корыстный умысел или плотскую подоплеку, внезапно озарило.

– Позвольте! – воскликнул он, обращаясь к опешившему соседу. – Вы видели? Зашла, устроила тут деконструкцию моей личности, потаскала за предмет гардероба и убыла в неизвестном направлении, не купив даже грошового эклера! Что это, если не высший пилотаж женского коварства?

Он вытер испарину со лба и вдруг с утробным смешком хлопнул ладонью по столу.

– В этом и есть суть Трикстера! Зачем ей кофе? Кофе – это для простых смертных, для тех, кому нужно заземлиться. А такие, как эта Мюнхгаузенша, питаются чужим смущением. Она зашла сюда исключительно ради акта метафизического насилия над моим утонченным духом. Это же чистой воды провокация, направленная на возбуждение... гм... мысли-

тельных процессов!

Голос его снова стал вкрадчивым, а взгляд замаслился.

– Вы понимаете, сударь, какая это тонкая игра? Она же не просто ушла. Она оставила после себя вакуум, который я теперь должен заполнить своими фантазиями. Это же классический бабский прием: взбудоражить кровь, показать зубки, а потом – фьють! – ищи ее в облаках на пробке от шампанского. Она зашла, чтобы я увидел этот изгиб бедра в движении, чтобы я почувствовал запах ее... э-э... превосходства. Грязная, грязная манипуляция! Она знает, что я теперь буду полночи думать, какой у нее подвязки цвет и не припрятан ли там томик Канта для отвода глаз.

Он наклонился к соседу, обдав его запахом застарелого возбуждения и дешевого табака.

– Это же трикстерство в квадрате – прийти в публичное место, предъявить претензию на божественность и не оставить чаевых! У них же у всех так: сначала они тебя за галстук хватают, а потом делают вид, что им просто нужно было уточнить направление ветра. Стерва, сударь, чистокровная стерва с родословной от самого Люцифера. Ох, и задал бы я ей трепку в духе старого доброго реализма, если бы она не испарилась, как эфир...

Платон Пантелеймонович с вожделением посмотрел на пустую дверь, словно надеясь, что баронесса вернется за забытой перчаткой, чтобы он мог продолжить свой спуск в бездну «просвещения».



# Трискайдекафобия, тердекафобия

Платон Пантелеймонович Похотливый восседал за столиком, словно оживший монумент мысли, случайно заброшенный в гущу обывательского ничтожества. Пока официанты разносили эклеры, он оперировал категориями вечности, мысленно расставляя по местам атомы мироздания и исправляя грамматические ошибки в книге бытия.

Вид он имел настолько возвышенный и неприступный, что казалось, будто даже муха, рискнувшая сесть на его лысеющую голову, немедленно получит степень кандидата философских наук или, как минимум, сердечный приступ от осознания собственной ничтожности.

Он размышлял о числовых гармониях Вселенной. О том, как числа правят судьбами, и как человечество, в своем невежестве, боится того, чего не может объять.

Случайное событие произошло в 13:13. Официант, юноша с лицом восторженного пуделя, споткнулся у соседнего столика. Поднос качнулся, и счет в кожаной папке упал прямо на колени Платону Пантелеймоновичу. На чеке жирным шрифтом сияло: «Столик №13».

Официант побледнел и прошептал:

– Ой, простите... Нехорошее число. Несчастливое.

Платон Пантелеймонович выпрямился, и в глазах его вспыхнул опасный огонь просветителя.

– Юноша! – провозгласил он, перекрывая гул кофемашины. – Не стоит стыдиться своего мистического трепета. Трискайдекафобия, или, если угодно, тердекафобия – это не просто суеверие. Это древнейший ужас перед числом тринадцать, идущий от Тайной вечери, где тринадцатым был предатель, и от скандинавских мифов, где Локи испортил пир двенадцати богов. Это восстание против совершенства числа двенадцать – двенадцати месяцев, двенадцати знаков Зодиака, двенадцати колен Израилевых! Вы боитесь тринадцати? А ведь это число – венец совершенства, разрушающий мещанский уют дюжины! Это динамический хаос, который врывается в стройные ряды и... и...

Он осекся, и лицо его вдруг пошло багровыми пятнами. Логика, совершив изящный пируэт, привычно свернула в темную подворотню его сознания.

– И ведь что такое тринадцать? – продолжал он уже громче, и голос его из академического баритона превратился в маслянистое пришептывание. – Это когда за столом сидят двенадцать приличных господ, а тринадцатой заваливается баба. Причем не просто баба, а такая, знаете, с косоглазием и неумным аппетитом. Трискайдекафобия – это же чистый страх перед тем, что тринадцатой в твою жизнь вломится какая-нибудь Машка из пельменной, у которой юбка трещит на корме, как парус в бурю.

Платон Пантелеймонович наклонился к официанту, обдавая того запахом горького кофе и невымытых фантазий.

– Вы думаете, число проклято? Нет, это бабье естество проклято! Взять хоть лунный цикл – их там тоже тринадцать за год. Вы понимаете связь? Эта цифра – как расстегнутый лифчик на свадьбе: все делают вид, что не замечают, а у всех в штанах уже трискайдекафобия зашевелилась. Это же символ избыточности! Когда тебе одной девки мало, и ты лезешь за тринадцатой, а она оказывается с таким «сюрпризом» в характере, что у тебя вся нумерология по швам трещит.

Он грохнул кулаком по столу, расплескивая раф.

– Тринадцать – это число греха, потных ладошек и разорванных панталон! Это когда тринадцатая пуговица на ее блузке не застегивается, потому что там такие буфера, что никакой Пифагор не обсчитает. Это же хтоническая жуть, мил человек! Это когда ты ее за ляжку, а там – тринадцать целлюлитных ямок, и каждая на тебя смотрит, как бездна!

Официант медленно отступал к бару. Платон Пантелеймонович, уже не стесняясь, орал на весь зал, пуская слюну на свой крахмальный воротничок:

– Страх перед числом? Ха! Это страх перед тем, что эта кобыла с тринадцатым размером затащит тебя в номера и там обчистит до нитки, оставив только триппер и воспоминания о том, как у нее подмышки воняли дешевым дезиком! Вот вам и вся тердекафобия, сосунки! Вся суть бытия – в этой лишней, потной, неучтенной бабе!

Он обессиленно откинулся на спинку стула, вытер рот платком и снова надел пенсне. Мир вокруг казался ему те-

перь абсолютно понятным и до тошноты логичным.

# Троллинг

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично курировал античную секцию в Эрмитаже. На коленях у него покоился великий пессимист Шопенгауэр, а взгляд, затуманенный слезой вселенской печали, искал спасения в завитках потолочного орнамента.

«Мир – это страдание, порожденное слепым желанием, – величественно размышлял Платон Пантелеймонович, дрожащими пальцами поправляя пенсне. – Как ничтожны эти двуногие, бегающие за призраками счастья. Только чистый интеллект, вырвавшийся из когтей вождения, способен познать высший покой».

В этот миг за соседним столиком юноша с тонкими запястьями захлопнул ноутбук и горько вздохнул:

– Опять набежали... Затроллили в комментариях до полусмерти.

Слово «троллинг» вошло в ухо Платона Пантелеймоновича как раскаленная игла. Он медленно повернул голову, и в его глазах вспыхнул недобрый, маслянистый огонек.

– Позвольте, молодой человек, – вкрадчиво начал он, и голос его из академического баритона вдруг стал походить на скрип несмазанной калитки. – Вы жалуетесь на троллинг? Но ведь это же чистейшая метафизика! Само явление проис-

ходит от скандинавских существ, уродливых и похотливых, которые заманивали путников в чащу, чтобы... гм... совершить над ними насилие.

Платон Пантелеймонович подался вперед, обдав юношу запахом дешевого одеколона и вчерашних щей.

– Ведь что такое троллинг в своей сути? Это провокация. А что есть высшая форма провокации, если не женское естество? Когда вы пишете пост, вы как бы надеваете короткую юбку. Выставляете свои мысли, как кокетка выставляет коленку в кружевном чулке. И вот этот ваш анонимный обидчик – он ведь не просто спорит. Он совершает акт интеллектуального совокупления без вашего на то согласия!

Глаза Похотливого заблестели, пенсне съехало на кончик носа. Он перешел на хриплый шепот, а его высокопарный слог начал стремительно осыпаться, как штукатурка в при-  
тоне.

– Этот тролль, понимаешь, он же тебя щупает за вымя твоей логики. Он заходит с тыла, пока ты расслабился, и начинает совать свои грязные аргументы в твои чистые помыслы. Это же форменное непотребство! Вот бабы, они такие же. Стоит ей увидеть, что ты приличный человек, она тут же начинает свой троллинг: то губу покрасит, как маляр забор, то задом вильнет, провоцируя на дебаты. А ты стоишь, как дурак, и у тебя уже не Шопенгауэр в башке, а одно желание – схватить эту интернет-стерву за ее модераторские выпуклости и так откомментировать, чтоб у нее сервер перегрелся!

Юноша начал медленно отодвигаться вместе со стулом.

– И нечего на меня так смотреть! – сорвался на визг Платон Пантелеймонович, и капля слюны повисла на его бороде чин-пуч. – Троллинг – это когда тебя имеют в мозг, а ты еще и виноват остаешься, как после ночи в сомнительном пансионате с пьяной буфетчицей! Вся жизнь – это одна большая бабья яма, где тебя сначала заманивают лайком, а потом полощут твои семейные трусы перед всей общественностью! Грязь, везде одна вонючая, потная грязь, и мы в ней – как те черви в протухшем гуляше...

Платон Пантелеймонович вытер пот со лба широким жезлом.

– Вот вы сидите, глазами хлопаете, а я вижу: вы – типичная жертва латентного троллинга. Вас бы сейчас в тред к мамкиным циникам, чтоб они вас там отымели во все смыслы. Потому что любая баба, она как ветка обсуждения: если долго тыкать палкой, она обязательно взорвется фонтаном нечистот. И в этом кайф! В этом самая мякотка бытия – довести до визга, содрать кожуру вежливости и смотреть, как там копошатся личинки похоти и злобы.

Похотливый любовно погладил свою козлиную бородку.

– Гы! Была тут одна московская «философия»... все Канта в статусах постила. Начиная с критики чистого разума, а закончила тем, что в личке мне оды строчила, признавая во мне альфа-тролля. Я ее так замордовал своими комментариями, что она теперь, небось, каждый раз, когда ком-

пьютер включает, инстинктивно спину гнет, будто я рядом с плеткой стою. Это же чистая психология: через экран пробиваешь им самооценку, и вот они уже готовы признать тебя своим божеством. Никакого портвейна не надо – я их своим ядом спаиваю!

Он громко швыркнул остывшим кофе и почесал колено. От прежнего лоска не осталось и следа; в углу рта закипала серая пена.

– Так что троллинг – это когда ты сверху, а оппонент, обтекаемый дерьмом, снизу. И никакой разницы с нормальной пьяной свалкой в коммуналке. Главное – вставить словцо поострее, чтоб аж задымилось.

Платон Пантелеймонович подмигнул оцепеневшему соседу и грязно выругался на древнескандинавском, глядя на проходящую мимо даму в строгом костюме.

# Трюизм

Платон Пантелеймонович Похотливый пребывал в состоянии того философского покоя, который доступен лишь людям, постигшим устройство мироздания до самых его костяшек. Он сидел в городском саду, опершись на трость с набалдашником в виде сократовской головы, и созерцал бытие.

«Главное, – наставительно размышлял он, провожая взглядом пролетающую ворону, – это понимать природу трюизма. Люди бегут от очевидности, ищут сложностей, а ведь истина всегда лежит на поверхности, она избита, как каблук старой девы, и плоска, как блин. Трюизм – это фундамент бытия. Например, "после лета всегда наступает осень". Или вот: "вода мокрая". Глупцы морщатся от таких фраз, а ведь в них заключена высшая честность. Трюизм не обманет. Если я скажу, что "ночью темнее, чем днем", я изреку абсолют, не требующий доказательств. Жизнь вообще состоит из банальностей: "человеку нужно дышать", "деньги любят счет". Это те незыблемые сваи, на которых держится купол нашей культуры, и отрицать их – значит расписываться в собственном скудоумии».

В этот момент на дорожку парка выбежала маленькая белая болонка, преследуемая пышной дамой в безразмерном худи. Дама, запыхавшись, вскрикнула: «Ах, она сейчас убежит!», и этот возглас стал тем самым камнем, что обрушил

лавину в сознании Платона Пантелеймоновича.

Он медленно повернул голову, и его высокородный профиль внезапно дернулся, обнажая хищный оскал.

– Бежит, – проскрежетал он, и голос его из баритона мудреца превратился в маслянистое шипение. – Конечно, бежит. Трюизм же, матушка! «Ноги даны, чтобы ходить». А бабам они даны, чтоб ими во все стороны размахивать, пока сустав не хрустнет. Вот вы бежите, атласом своим колышете, а под атласом-то что? Опять же трюизм: «баба всегда хочет мужика». Это ж аксиома, такая же неоспоримая, как то, что «зимой идет снег».

Он встал, бесцеремонно разглядывая покрасневшую даму, и его мысли окончательно сорвались в сточную канаву.

– Ишь, задышала, грудью-то заходила... «Дыхание – признак жизни», верно? А в вашем случае – признак того, что нутро горит, как стог сена. Трюизм в чем? В том, что вы эту собачонку только для отвода глаз завели, чтоб юбками на людях крутить. Всем же ясно: «голодной куме одно на уме». Вы ж сейчас добежите до кустов, а там какой-нибудь прохвост вас уже дожидается, и начнется старая песня. Трюизм, милочка, это когда тебя в подворотне прижмут, и ты не «ой-каешь», а сразу ноги за уши закидываешь, потому что «природа берет свое». Сами вы все одинаковые, как дырки в сыре: сверху претензия на приличие, а снизу – мокрая щель и вечное желание, чтоб тебя поглубже проткнули. Жизнь – она ж простая, как палка: сунул-вынул, вот тебе и весь трюизм.

Тьфу, потаскухи банальные, все по кругу, все по накатанной, никакой фантазии в вашем блюде, одна сплошная очевидность...

Платон Пантелеймонович сплюнул в пыль, поправил запотевшее пенсне и пробормотал под нос, что «рыба ищет, где глубже». В этот момент дама в худи все-таки догнала собачку, подхватила ее на руки и преградила путь Похотливому. Оказалось, это была Капитолина Карповна Кобелицкая – вдова чиновника из обладминистрации, женщина строгих правил и такого же кругозора.

– Ах, милейший! – воскликнула она, преграждая ему путь. – Вы изволили рассуждать о трюизмах. Какое совпадение, я как раз размышляла почти о том же – о неизбежности миропорядка. Ведь как верно подмечено: «все течет, все меняется». И в этом бесконечном движении мы находим покой, ибо знаем – «после дождя всегда будет солнце». Трюизм, мой друг, есть единственное лекарство от экзистенциальной тревоги. «Все, что имеет начало, имеет и конец», не так ли?

Похотливый уже набрал в легкие воздуха, чтобы обрушить на вдову свою теорию о «женских соках», но Капитолина Карповна вдруг странно дернула ноздрей и придвинулась к нему почти вплотную. Глаза ее за стеклами очков блеснули желтизной.

– Вот вы, сударь, стоите тут, представительный такой... А ведь трюизм-то в чем? «Мужчина – венец творения», – она едко усмехнулась, и ее голос вдруг сорвался на хриплый,

прокуренный шепот. – Только венец этот вечно норовит в штаны сползти. Вы же, кобели, все по одному чертежу соструганы: «горбатого могила исправит», а кобеля – только пустая мошна.

Платон Пантелеймонович опешил.

– Позвольте, мадам...

– Что «позвольте»? – перебила Кобелицкая. – Трюизм – это когда мужик рот открывает про философию, а сам глазом косит, где бы пристроиться. «Сколько волка ни корми», а у вас все одно на уме – как бы свой стручок в теплую борозду пристроить. И ведь логика железная: раз «природа не терпит пустоты», значит, надо ее заполнить своим непотребством. Я ж вижу, как у вас фалды пиджака топорщатся! Вы ж, ироды, как рассветет, так сразу о поршнях своих думаете. Вам бы только зажать бабу в углу, чтоб она дух испустила, а сами небось уже и сапоги скинуть не в силах, пузо мешает, а все туда же – задом крутить.

Она ткнула собачкой ему в жилетку.

– «Яблоко от яблони», говорите? Да вы все от одного корня гнилого. Трюизм в том, что мужик – существо одноклеточное: пожрать да всунуть. Гляньте на себя – пенсне нацепил, а в штанах-то небось кисель столетний колышется, а все мечтает, как бы его молодка за вихры оттаскала. Вы ж без этого зуда и дня не проживете, все ищите, куда бы свою слизь пристроить, прикрываясь высокими материями. Тьфу на вас, старые козлы, все у вас по одной схеме: сначала «ма-

дам, позвольте ручку», а через пять минут уже сопите в ухо, как боровы у корыта, и слюни на чепец пускаете. Очевидность же! «Что посеешь, то и пожнешь», вот вы и жнете свои трипперы да подагры, а все не уйметесь...

Капитолина Карповна внезапно умолкла и окинула Платона Пантелеймоновича взглядом опытного мясника, оценивающего тушу на предмет свежести. Гневный румянец на ее щеках сменился какой-то подозрительной, сырой томностью. Она поправила шляпу и, обдав собеседника густым ароматом несвежей пудры, процедила сквозь зубы:

– Впрочем, как говорят в народе, «старый конь борозды не испортит», хотя и глубоко не вспашет. И коль уж мы оба знаем, что «ночью все кошки серы», а в моей тайной квартирке как раз удачно перегорели пробки, то не соблаговолите ли вы, сударь, зайти на чашку чая? Проверим на практике еще один трюизм – «в тесноте, да не в обиде».

# Тульпа

Платон Пантелеймонович Похотливый пребывал в том состоянии высшего душевного томления, когда даже глоток остывающего кофе кажется причастием к тайнам бытия. Его лицо хранило печать суровой интеллектуальной аскезы, а неподвижный взгляд был устремлен вглубь себя, где, по его убеждению, велся непрекращающийся симпозиум великих теней прошлого.

Сидя в кофейне, Платон Пантелеймонович размышлял о бренности бытия и о том, как современное общество безвозвратно утратило ту тонкую нить платонического диалога, что связывала некогда Афины с вечностью.

– О, этот суетный мир, – шептал он, поправляя пенсне, – где дух заперт в темнице плоти, словно птица в золоченой клетке декаданса.

Тишину его высокогорного уединения прервал звонкий смех за соседним столиком. Молодой человек в нелепом худи оживленно объяснял спутнику:

– Да говорю тебе, это не просто воображаемый друг. Это – тульпа! Я ее сам создал, она уже почти обрела плотность в моем сознании.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «тульпа» вошло в его ухо, как заноза в бархат. Он медленно повернулся, и в его глазах вспыхнул огонек той самой «эрудиции», кото-

рая обычно предвещала шторм.

– Позвольте, юноша, – звучно начал он, переходя на тон лектора СПбГУ, получившего докторскую степень еще во времена ЛГУ. – Ваше упоминание тибетского мистицизма в столь вульгарном контексте – это симптом глубочайшего духовного голодания. Тульпа, если угодно знать, есть эманация мысли, материализованная галлюцинация, порожденная колоссальной концентрацией воли. Это чистый конструкт сознания, который, согласно восточным практикам, начинает жить собственной жизнью, независимой от создателя.

Молодые люди затихли. Платон Пантелеймонович, почувствовав аудиторию, приосанился. Его логика, подобно разогнанному локомотиву, начала свой привычный съезд с рельсов приличия в сторону знакомого кювета.

– Вы говорите «сознание», – продолжал он, и голос его стал вкрадчивым. – Но что есть сознание без объекта вождения? Ведь тульпа – это идеальный способ обойти социальные препоны. Вот представьте: вы создаете бабу. Но не ту, которая требует шубу и выносит мозг из-за немытой тарелки, а эдакую эфирную кобылицу. Вы ее лепите в мозгу – сначала бедра, чтобы как у породистой матки, чтоб аж звенело все, когда она идет по коридору вашего воображения.

Лицо Платона Пантелеймоновича покраснело, пенсне съехало на кончик носа.

– И вот эта ваша «ментальная проекция» сидит у вас в башке, голая, как сокол, и только и ждет, когда вы дадите ей

команду «фас». Вы ее кормите своим вниманием, а она за это раздвигает перед вами горизонты... и не только горизонты. Это же гениально! Никаких алиментов, никаких соплей про «ты меня не любишь». Чистая, незамутненная плотская радость в черепной коробке.

Он придвинулся ближе, обдав собеседников запахом кофейного перегара.

– А когда эта ваша тульпа обретает, так сказать, «плотность», – Платон Пантелеймонович смачно причмокнул, – тут-то и начинается настоящий замес. Вы ее в мыслях на стол – р-раз! – и давай охаживать по всем правилам грязного жанра. Она же молчит, только глазами хлопает, как телка на выданье. И главное – никакой сифилитики, одна сплошная метафизика. А вы говорите – «духовность». Да это же лучший способ втихаря перелопатить все мироздание, пока жена думает, что ты Канта читаешь!

Юноши поспешно расплатились и выбежали из кофейни. Платон Пантелеймонович посмотрел им вслед, вытер вспотевший лоб салфеткой и удовлетворенно хмыкнул.

– Невежды, – буркнул он, заказывая еще одну порцию коньяка. – Даже вообразить себе приличную грудастую химеру не способны. Все им разъяснять надо...

# Турбулентность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, замерев над эклером, словно патологоанатом над душой эпохи. Он страдал. Страдал величественно, размышляя о том, что материя прискорбно груба.

Его брови были печально сдвинуты к переносице, образуя китайский иероглиф высшей душевной боли, доступной лишь людям с пятью неоконченными высшими образованиями. Откуда-то нашего героя выгоняли со скандалом, откуда-то он дезертировал сам, оставляя после себя лишь пепелище грязных интрижек, заявлений в деканат от оскорбленных студенток и преподавательниц и позорные «незачеты» по физкультуре, перед которой его эрудиция оказалась абсолютно бессильна.

Похотливый зачерпывал ложечкой крем с такой брезгливой осторожностью, будто проверял на прочность основы мирового порядка. В его голове в это время происходил торжественный парад философских категорий, а сам он ощущал себя последним бастионом чистого интеллекта в океане пошлого мещанства. Вокруг шелестели газеты, пахло корицей и благопристойностью. Платон Пантелеймонович поправил пенсне и мысленно пожурил официанта за недостаточно античную складку на салфетке.

В этот момент за соседним столом молодой человек в оч-

ках читал вслух статью из научного журнала: «...в условиях высокой скорости потока возникает турбулентность, хаотические вихри разрывают ламинарную структуру, создавая непредсказуемое давление».

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «турбулентность» вошло в него, как раскаленный гвоздь в швейцарский сыр.

– Турбулентность, юноша, – произнес он густым, бархатым баритоном, оборачиваясь к соседу, – это не просто физический термин. Это метафора грехопадения. Вы говорите: «хаотические вихри». Но разве не так же ведет себя юбка Зинаиды из четвертой парадной, когда она вбегает по лестнице, преследуемая сквозняком и собственными нечистыми помыслами?

Юноша поперхнулся латте. Платон Пантелеймонович, уже не сдерживаясь, подался вперед, и его лицо приобрело оттенок перезрелой сливы.

– Поймите же, мой неопытный друг! Ламинарное течение – это когда баба идет в церковь, вся такая гладкая, застегнутая на все пуговицы, чистый ангел в вакууме. Но стоит возникнуть препятствию – скажем, мужчине с пятачком в кулаке или просто крепкому портвейну – как начинается она. Турбулентность! Слой за слоем срываются приличия. Потoki перемешиваются. Либи́до вскипает, как вода в закрытом котле.

Он перешел на свистящий шепот, а его высокопарный

слог начал осыпаться, как штукатурка в дешевом притоне.

– Какие там, к черту, числа Рейнольдса? Ты на ее рожу посмотри, когда у нее в башке вихри эти закручиваются! Там же сплошная неустойчивость Кельвина – Гельмгольца, только вместо облаков – потные коленки и расхристанная кофточка. Она ж как фюзеляж в грозу – трясется, потеет, заклепки летят в разные стороны, а внутри – одна сплошная грязь и желание вписаться в ближайший штопор. Турбулентность – это когда у бабы в голове не мысли, а копошащиеся черви в навозной куче, и каждый червь хочет того же, что и я сейчас – еще одну чекушку и чтобы официантка согнулась пониже!

Платон Пантелеймонович ударил кулаком по столу, расплескав гясе на свои безупречные панталоны.

– Это физика деградации, сынок! Чем выше скорость порока, тем больше завихрений в этих мясистых телах!

Юноша поспешно ретировался, оставив газету. Платон Пантелеймонович тяжело дышал, глядя на кофейное пятно, которое медленно расплывалось, напоминая ему очертания чего-то крайне неприличного и, безусловно, очень турбулентного.

# Тутти

Платон Пантелеймонович Похотливый замер у окна кофейни с тем величественным достоинством, с каким античный философ мог бы созерцать крушение Трои или, на худой конец, нерадивость раба.

Его взор, подбитый тяжелым веком, скользил по вывескам с безмерной усталостью просвещенного ума. Казалось, он пребывает в высших сферах, где чистые идеи ведут свой бесконечный спор о благе и красоте, совершенно не касаясь подошвами пыльного петербургского тротуара.

«Мир есть лишь совокупность вибраций, стремящихся к конечному аккорду, – возвышенно размышлял он, поправляя безупречный галстук. – Каждое явление, от шелеста листвы до движения светил, подчинено строгой симфонии бытия. И как важно в этом хаосе уловить момент абсолютно-го единства, тот самый божественный миг, когда все сущее сливается в едином порыве».

Его внимание привлекло меню на грифельной доске. Крупными буквами там было выведено слово, заставившее его бровь взметнуться к самой залысине: «Тутти».

– Тутти... – прошептал он, и в глазах его вспыхнул недобрый, маслянистый огонек. – Глас народа – глас божий. Или, вернее, глас плоти.

К нему подошел официант, юноша бледный со взором го-

рящим:

– Желаете десерт? У нас сегодня свежее «тутти-фрутти», оригинальный рецепт.

Платон Пантелеймонович медленно повернулся к нему. Лицо его, еще минуту назад напоминавшее мраморный бюст Цицерона, вдруг начало как-то подозрительно оплывать, как забытая на солнце свеча.

– Тутти, молодой человек? – вкрадчиво начал он, переходя на тон лектора-расстриги. – Вы хоть понимаете, какую бездну разверзли? «Тутти» в музыке – это когда все инструменты вместе. Оркестр в едином порыве, понимаете? Гармония масс. Итальянцы знали толк в куче. А «Тутти-фрутти» – это ведь буквально «все плоды». Смесь. Мешанина. Винегрет из сладострастия.

Он подошел ближе, обдав юношу запахом мятных пастилок и чего-то застоявшегося.

– Вы думаете, это просто мороженое с цукатами? Ха! Это символ женского естества в период коллективного безумия. Когда все вперемешку: и вишня, и корка, и сопливый сироп. Тутти – это когда баба не знает, чего хочет, и гребет в себя все подряд, как не в себя. Это же чистая метафора групповухи в кондитерском цехе! Представьте: лежат они там, все эти ягоды, липкие, потные, трутся боками в одном корыте, а сверху их заливают белым, тягучим... сливками, конечно.

Официант попятился, но Платон Пантелеймонович уже схватил его за пуговицу. Его высокопарный слог окончательно-

но сменился хриплым лаем.

– Ты че, пацан, не догоняешь? Тутти – это же когда у девки в башке полный фарш. Она тебе улыбается, а сама думает, как бы поудачнее раздвинуть булки перед всем составом филармонии под этот самый аккорд «тутти». Это ж апофеоз гнили! Сначала они все такие из себя «музыкальные», а как доходит до дела – подавай им полную вазу цукатов в одно рыло. Напихают полный рот этой хурмы, сок по подбородку течет, зенки закатили – вот тебе и вся эрудиция. Сплошное, блин, «фрутти» в потных ладошках. Жрут и потеют, потеют и жрут...

Платон Пантелеймонович вытер губы своей козлиной бородкой и тяжело задышал, глядя в пустоту остекленевшим взглядом.

– Неси свое корыто, – буркнул он, снова выпрямляясь и поднося к глазам лорнет. – Посмотрим, насколько глубоко пала современная кулинария в своем бесстыдстве.

# Тьюторство

Платон Пантелеймонович стоял перед витриной кофейни, выпятив грудь колесом, словно в нее вот-вот должны были вдеть орден за спасение мировой нравственности. Его лицо выражало такую заоблачную чистоту, что случайные собаки приседали от почтения, а автомобилисты непроизвольно переставали сквернословить.

– Мы – стражи разумного, доброго, вечного, – патетически шептал он в пространство, пощипывая козлиную бородку. – Наша миссия – возделывать сад просвещения, не допуская в него сорняки плотских помыслов.

В этот миг он казался себе настолько бесплотным существом, что даже собственное отражение в витрине виделось ему излишне чувственным и подозрительным.

Войдя в кофейню, он увидел даму с подростком. Она нервно теребила блокнот и шептала: «Нам нужен хороший тьютор, иначе экзамены провалены».

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «тьютор» ударило его в темя, точно копыто сатира. Он присел за соседний столик, повернулся к ним, и в его глазах зажегся нехороший, маслянистый огонек.

– Тьютор, сударыня? – пропел он, бесцеремонно вклиниваясь в беседу. – Какое глубокое, истинно британское понятие. Это ведь не просто репетитор, этот сухарь с указкой.

Нет! Тьютор – это наставник, пестун, индивидуальный куратор траектории развития. Он не впихивает знания, он сопровождает процесс осознания, помогает подопечному найти свой путь в дебрях методологии.

Он придвинулся ближе, и его голос начал терять академическую звонкость, приобретая хриплые, интимные нотки.

– Понимаете, тьюторство – это про тесный контакт. Это когда один ведет другого за руку по самым темным закоулкам программы. А там, где тесный контакт, там и... химия, матушка. Вы посмотрите на корень вопроса! Тьютор должен знать все слабые места, все трещинки в обороне ученика. Он входит в доверие, он проникает в самую суть его распорядка... А от индивидуальной траектории, знаете ли, один шаг до горизонтального положения.

Платон Пантелеймонович облизнул губы, и его галстук как-то сам собой перекосялся.

– И вот сидит этот ваш тьютор, якобы обсуждает «индивидуальный план», а сам-то небось зырит, как у ученицы – ну или у мамыши, хе-хе – юбка выше колена задралась, пока она над задачником пыхтит. Тьюторство – это ж легальный повод в дом втереться. Наставничество, ага! Сначала он ей «образовательный запрос» формирует, а потом глядь – уже и запросы совсем другого толка пошли. Эти их «тьюториалы» – чистой воды прелюдия. Сидят в тишине, дышат в затылок, пальцем в параграф тычут, а сами только и думают, как бы эту кобылку в стойло загнать и за вымя пощупать...

Глаза Похотливого окончательно заплыли жиром, он перешел на свистящий шепот:

– Какие там экзамены, окститесь! Там девка потеет, он слюни пускает на ее лодыжки, и вся эта педагогика сводится к тому, чтобы поглубже всунуть... свои идеи, разумеется. Грязное это дело, сударыня, похоть под видом латыни. Тьютор – это просто кобель с дипломом, который ждет, когда вы отвернетесь, чтобы вашу кровиночку или вас саму в уголке прижать и...

Дама, схватив сына за руку, в ужасе выбежала из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил ее долгим, липким взглядом, задержавшись на уровне ее лопаток, и вдруг благостно перекрестил пространство тонким пальцем.

– Посеял зерно истины в неподготовленную почву, – вздохнул он и, поманив официанта, добавил с видом великомученика: – Любезный, тащи-ка мне две ромовые бабы. Да посиропистее, чтоб аж сочилось из них, как... ну, ты понял.

# Тэффи Надежда Александровна

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у Казанского собора, подставив лицо серому питерскому небу с видом человека, который лично курирует движение циклонов. Его пальто было застегнуто на все пуговицы, а в глазах светилась такая нестерпимая эрудиция, что прохожие невольно поправляли галстуки.

«Петербург, – размышлял он, величественно поводя носом, – это ведь не просто гранит. Это застывшая воля, диктующая нам строгие формы бытия. Посмотрите на эти колонны! Какая симметрия, какая онтологическая завершенность. Даже эти голуби, клюющие остатки шавермы, в сущности, являются лишь эманациями мирового духа...»

В этот момент из дверей кофейни вышла дама. Она была в старомодной шляпке-котелке, с тонкой улыбкой, в которой сквозила такая насмешливая печаль, будто она знала о человечестве что-то очень смешное и безнадёжное. Это была сама Надежда Александровна Тэффи, волею литературного случая оказавшаяся в Петербурге второй четверти 21 века. Она искала фиакр, но видела только электросамокаты.

Платон Пантелеймонович замер. В его голове щелкнуло реле.

– Милостивая государыня, – произнес он, делая шаг вперед и мгновенно забыв о геополитике. – Вы, верно, заблуди-

лись в дебрях нашего неонового варварства? Позвольте мне, Платону Пантелеймоновичу Похотливому, быть вашим проводником в этом новом для вас мире.

– Как вы сказали? – в глазах Тэффи впервые вспыхнул интерес. – Похотливый?

– С фамилией все просто, – ни грамма не смутившись, отвечал наш герой. – «Похотка» – это старинный вид сдобной выпечки, которую готовили к свадьбам. Сладкая, пышная, манящая... Мои предки владели пекарнями. Я – наследник кондитерской династии! А то, что я иногда смотрю на женщин так, будто хочу их съесть – так это профессиональный взгляд потомственного гурмана, оценивающего качество «замеса». Вот я заметил, как тонко ваш профиль, Надежда Александровна, рифмуется с классицизмом... Но ведь классицизм – это, если вдуматься, строгий корсет на пышном теле природы. А природа, как известно, всегда берет свое.

Тэффи подняла бровь, готовясь отшутиться, но Похотливый уже вошел в пике. Его голос из бархатного баритона стал превращаться в маслянистый шепот, а логика – в кривой штопор.

– Вот вы смотрите на этот собор, – продолжал он, плотоядно шурясь, – а я вижу в нем аллегорию. Видите купол? Округлый, манящий... Это же чистая биология! Политика – это чушь, это просто сублимация того, что мы все хотим залезть под чью-то юбку. И вы, Надежда Александровна, со

своим юмором – вы ведь просто дразните нас, мужиков. Сатира – это как чулки с подвязками: вроде и прикрыто, а щечечет.

Тэффи попыталась отойти, но Платон Пантелеймонович, уже окончательно перейдя на «грязный» регистр, схватил ее за край мантии. Его эрудиция осыпалась, как штукатурка с аварийного дома на Лиговке.

– Чего вы ломаетесь, как целка на сеновале? – просипел он, обдавая классика запахом дешевого коньяка и неумемной страсти. – Я же вижу по глазам: вы тоже хотите этой низости. Все эти ваши рассказы – это ж прелюдия! В Петербурге сейчас сыро, бабы потные в метро толкаются, а у вас шея такая... белая, как сметана в борще. Пойдемте в подворотню, я вам покажу, что такое настоящий экзистенциальный кризис в горизонтальном положении. Там за углом как раз мусорные баки и романтика, прямо как в книжках, которые теперь модно писать – чтоб воняло и телки визжали.

Тэффи посмотрела на него с бесконечным сожалением, какое бывает у энтомолога при виде особенного навозного жука.

– Знаете, милейший, – тихо сказала она, – я всегда писала о дураках. Но вы, господин Похотливый, – это уже не литература. Вы – это опечатка в меню дешевого кабака.

Она ловко ускользнула в толпу, а Платон Пантелеймонович остался стоять, расхристанный, с безумным взором, бормоча под нос, что мировая закулиса – это, в сущности, про-

сто одна большая общая баня, где все только и ждут, когда кто-нибудь уронит мыло.

Но уже через мгновение Платон Пантелеймонович встрепенулся, осознав, что Надежда Александровна ускользает в сторону Невского проспекта. Он бросился вдогонку, на ходу возвращая лицу выражение скорбной одухотворенности, хотя в глубине его глаз уже зажегся нездоровый огонек.

– Надежда Александровна! Пойдите! – задыхаясь, крикнул он. – Мой порыв был продиктован лишь метафизическим восторгом. Вы, как мастер слова, должны понимать: когда дух переполнен, плоть начинает бунтовать. Это же чистый Шопенгауэр – мир как воля и представление! Представление у нас в Петербурге всегда приличное, а вот воля... воля всегда тянет к чему-то низменному, к первоосновам!

Тэффи остановилась и посмотрела на него с тем самым видом, с каким смотрят на муху в супе: есть ее нельзя, а игнорировать – не получается.

– Ваша «воля», сударь, – заметила она, поправляя муфту, – слишком уж сильно пахнет казармой и плохим воспитанием.

– О, вы правы! – воскликнул Похотливый, и его голос снова начал предательски снижать регистр. – Казарменность – это же скелет нашей государственности. Но посмотрите глубже. Зачем солдату муштра? Чтобы он мечтал о девке в кабаке! Политика – это просто способ отвлечь массы от того факта, что у всех между ног одинаковое напряжение. Вы вот

пишете про смешных человечков, а ведь каждый ваш смешной человечек – это просто неудавшийся сатир.

Он подошел ближе, и в его шепоте закричала «грязная» нота.

– Вы думаете, я тут распинаясь ради высокого слога? Надежда Александровна, ну бросьте эти ваши эмигрантские замашки. Петербург сейчас – это не балы, это пот и похоть в хрущевках. Ваша ирония – это просто тонкие трусики на жирном заду реальности. Красиво, но все равно хочется сорвать и посмотреть, что там за целлюлит у истории. Давайте-ка зайдем в эту парадную, там на втором этаже такие перила... выгнутые, как бедра гимнастки. Я вам там объясню всю подоплеку вашего творчества – без цензуры и без этих ваших кружевных намеков.

Его рука дернулась к ее локтю, глаза замаслились.

– Чего вы на меня как на покойника смотрите? Я ж живой! Я ж пульсирую! Все эти ваши книжки – это ж просто суррогат. Пойдемте, я вам покажу «черновик» жизни, там, где буквы не нужны, где только стоны и матрас пружинами воеет. Вы ж писательница, вам полезно будет в дерьме искупаться, чтоб метафоры почернели...

Тэффи вздохнула и, внезапно выхватив из сумочки крошечный флакон с духами, брызнула ему прямо в распахнутый в экстазе рот.

– Это отрезвляет, – кротко сказала она. – И, бога ради, застегните хотя бы одну пуговицу на совести. Она у вас висит

самым непристойным образом.

Платон Пантелеймонович закашлялся, глотая цветочный аромат «Красной Москвы», который в его воспаленном мозгу тут же трансформировался в запах будуарного разврата. Он не обиделся. Напротив, в его извращенной логике этот жест стал высшим актом кокетства.

– О, парфюм! – просипел он, утираясь рукавом. – Ароматизация бездны! Вы же понимаете, Надежда Александровна, что духи изобрели лишь для того, чтобы скрыть запах немытого женского отчаяния? Это ведь та же цензура. Вы душите свои тексты метафорами, как шею – этим флаконом, чтобы никто не учуял, как на самом деле воняет эта жизнь.

Тэффи прибавила шагу, пытаясь затеряться в толпе у Гостиного двора, но Похотливый семенил рядом, как привязанный бес.

– Вот вы бежите, – продолжал он, и его голос окончательно сорвался на хриплый, липкий бас, – а бежать-то некуда. Мы в Питере, здесь под каждым гранитным камнем – мокрица, и каждая мечтает о спаривании. Ваша тонкая ирония... да кому она нужна в эпоху, когда миром правит голый зад? Посмотрите на рекламные щиты, на эти губы, накачанные силиконом до состояния спелого геморроя! Это же и есть ваш «юмор», только доведенный до абсурда.

Он резко преградил ей путь, прижав к стене дома. Его лоск осыпался окончательно: галстук съехал набок, на губе вздулся пузырек слюны.

– Слышь, Надюха... можно я буду звать тебя Надюхой? Брось ты эту интеллигентскую шелуху. Ты ж сама знаешь, как в темноте под одеялом все эти твои каламбуры превращаются в обычное животное кряхтение. Я ж вижу: тебе не фиакр нужен, тебе нужен мужик, чтоб обдал тебя перегаром и правдой жизни. Пойдем со мной в чебуречную, там на клеенке такие жирные пятна – чистая карта человеческих пороков. Я тебе там на пальцах объясню, почему твои рассказы – это просто эротическая фантазия старой девы, которая боится признаться, что хочет, чтоб ее хорошенько отдраили в портовом кабаке.

Он потянулся к ее шляпке, его пальцы дрожали от нетерпения.

– Дай я хоть ленточку твою пожую... Чисто для вдохновения. Ты ж писательница, ты должна знать вкус грязи. А я – лучший гид по этой помойке. У меня в голове Платон, а в штанах – Похотливый, и они оба хотят одного: чтоб ты перестала умничать и просто... ну, ты поняла.

Тэффи посмотрела на него с ледяным спокойствием.

– Вы знаете, Платон Пантелеймонович, в чем ваша главная трагедия? Вы пытаетесь сделать из грязи философию, а получается просто грязная философия. Это как пытаться сварить компот из использованных портянок.

Она ловко скользнула под его рукой и прыгнула в открывшуюся дверь внезапно подкатившей черной машины, оставив Похотливого наедине с его эрекцией и Казанским собо-

ром.

Платон Пантелеймонович проводил Тэффи мутным взглядом, в котором «высокая эстетика» окончательно проиграла битву основному инстинкту. Он поправил помятое кашне и, пошатываясь от избытка собственных теорий, двинулся в сторону Сенной. Ему казалось, что он не просто идет, а совершает тектонический сдвиг в структуре городского пространства.

– Тэффи... – бормотал он, задевая плечом фонарный столб. – Интеллектуалка, ишь ты. Тонкая ирония у нее. А ведь ирония – это всего лишь смазка для тугого механизма социальной условности. Как вазелин. Без нее жизнь скрипит, как несмазанная кровать в доходном доме...

У входа в круглосуточную рюмочную «У Хромого Аполлона» стояла Гертруда – местная дива в леопардовых лосинах, чей макияж напоминал наскальную живопись эпохи палеолита. Она курила, выпуская дым с таким видом, будто это была ее единственная связь с атмосферой.

– Мадам! – воскликнул Похотливый, принимая позу античного оратора, у которого внезапно подкосились колени. – В вашем облике я читаю закат Европы. Шпенглер писал о морфологии культур, но он был идиотом и девственником. Культура не умирает, она просто снимает лифчик!

Гертруда медленно повернула голову.

– Слышь, философ, – хрипло сказала она, – ты либо заходи, либо не сквози. Тут люди делом заняты, а не морфо-

логией.

– Именно! – Платон Пантелеймонович почти закричал, брызгая слюной на леопардовый принт. – Дело! Плоть! Суть бытия! Вы понимаете, что ваши лосины – это манифест? Это вызов либеральной повестке! Все эти санкции, падение курса рубля – это все от того, что мужики разучились видеть в женщине не личность, а... эх, да что там... кусок сочного, шкварчащего мяса! Вы же – олицетворение народной души. Такой же немойтой, пьяной и доступной, если правильно подойти к вопросу ценообразования.

Он придвинулся вплотную, его эрудиция окончательно превратилась в зловонный пар.

– Давай без прелюдий, мать. Ты ж сама видишь: я человек начитанный, я про Канта знаю, и про то, как баб на кулак наматывать. Пойдем внутрь, хлопнем по маленькой, а потом я тебе устрою такой «декаданс», что у тебя тушь по всей хारे размажется. Хватит ломать комедию, мы ж в Питере! Тут каждый камень шепчет: «Греси, пока не сгнил». Дай я тебя за коленку потрогаю, чисто для проверки эмпирического опыта...

Гертруда, не меняя выражения лица, затушила окурок о перила и мощным движением профессиональной вышибальщицы толкнула Похотливого в грудь. Платон Пантелеймонович кувыркнулся в лужу, прямо в объятия грязной жизни.

Платон Пантелеймонович лежал в луже, ощущая, как ледяная невиская жижа окончательно роднит его с первомате-

рией. Ему почему-то вспомнилась черная машина, в которой скрылась Надежда Александровна. Похотливый восторженно оскалится, обнажая пожелтевшие зубы.

– Эх, Надюха... – прохрипел он, сплевывая на мокрый асфальт. – Упорхнула, птица высокого полета... Хвостом крутанула. Это ведь тоже метафора – черное авто как гроб на колесах, увозящий остатки дворянской спеси в небытие. Она думает, что спаслась от меня, а на самом деле – просто сбегала от очной ставки со своей истинной природы. Ведь вся ее ирония, все эти тонкие книжные финтифлюшки – это всего лишь попытка замаскировать тот факт, что в финале любого рассказа нас ждет одна и та же липкая, вонючая реальность. Она пишет про «смешное», а я это «смешное» сейчас жопой чувствую – мокрое и холодное.

Он попытался приподняться на локтях, но рука скользнула по гнилой банановой кожуре, и Похотливый снова рухнул в грязь с тяжелым всхлипом.

– Гениально... – пробормотал он, зажмурившись от удовольствия. – Вот он, истинный финал ее ненаписанной главы. Тэффи в лимузине, а ее идеальный читатель – в дерьме. Она уехала в чистые простыни, но аромат моих грязных фантазий уже въелся в ее муфту. Политика, литература... все это тлен. В конце концов останется только эта лужа и мой зуд в паху. Мы победили, Пантелеймоныч. Мы ее все-таки... концептуально дожали.

Над Санкт-Петербургом сгущались сумерки, и в их се-

рой вате Платону Пантелеймоновичу мерещилось, что Казанский собор – это вовсе не храм, а огромная, перевернутая вверх дном супница, в которой человечество медленно киснет, превращаясь в однородный, дурно пахнущий бульон.

# Ультиматум

Платон Пантелеймонович Похотливый нес свою просвещенную плоть сквозь пространство кофейни с грацией груженого пряностями испанского галеона. Он водрузил свое туловище на стул и замер, устремив на пальму в кадке величественный взор мыслителя, только что разгадавшего тайну египетских пирамид.

«О, как ничтожен этот мелкий буржуазный мирок, – благостно ворковал внутренний голос Платона Пантелеймоновича, пока сам он аккуратно расправлял складки на брюках. – Лишь единицы, отмеченные печатью высшего интеллекта, способны созерцать космическую гармонию Вселенной и понимать истинный ход вещей. Нас мало избранных, счастливыхцев праздных... со стабильным пассивным доходом. Да, три удачных брака и три безутешных траура – и вот ты уже можешь позволить себе не работать до конца дней своих».

Перед ним на столе лежала газета. Заголовок кричал: «Дипломатический тупик: Последний ультиматум». Платон Пантелеймонович благостно зажмурился и погладил свою бородку чин-пуф с едва уловимым синеватым оттенком (Похотливый купил в аптеке средство от седины, а оно дало непредсказуемый цвет).

Само слово «ультиматум» вызывало в его душе вибрации высшего порядка. Он видел в этом латинском корне – ultimus

(последний) – величественный финал драмы, когда маски сброшены и дух требует окончательной ясности.

В этот момент за соседним столиком официант, неловко повернувшись, опрокинул на скатерть чашечку эспresso. Маленькое черное пятно начало медленно расплзаться по белой ткани.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взор затуманился, а благостная мина сменилась хищным прищуром.

– Вот вам и ультиматум, – пробормотал он, обращаясь к испуганному официанту, который уже суетился с салфеткой. – Вы думаете, это просто кофе? Нет, голубчик. Ультиматум – это когда тебе приставили нож к горлу и сказали: «Либо ты даешь ответ сейчас, либо завтра твои бастионы падут». Это решительное требование, не допускающее возражений. Понимаете? Последнее китайское предупреждение, после которого – только канонада.

Официант кивнул и попытался ускользнуть, но Платон Пантелеймонович цепко схватил его за рукав. Голос его стал тише, а в интонациях прорезалось нечто липкое.

– Ведь и баба, мил человек, она как та держава. Сначала дипломатия, реверансы, «позвольте ручку», «не изволите ли чаю». А потом – раз! – и ты ставишь ей ультиматум. Либо мы сейчас идем в нумера, либо катись ты колбасой по Малой Спасской. И тут, брат, вся эрудиция слетает, как шелуха с луковицы. Ты ей говоришь: «Слушай ты, Матрена, хватит ломаться, как старая кровать. Время вышло».

Платон Пантелеймонович подался вперед, пенсне съехало на кончик носа, открыв покрасневшие глаза.

– Ультиматум – это когда торговаться нету мочи. Когда в башке одно: либо ты сейчас юбку задираешь, либо я иду к Люське из пятой парадной, у той ультиматумы всегда короткие и понятные. Потому что баба, она понимает только кулаком по столу и четкий срок: пять минут на раздумья, и чтоб чулки были сняты. А иначе какая это политика? Это сплошное блудословие и перевод продукта.

Он тяжело задышал, глядя на кофейное пятно, которое теперь казалось ему контуром чьих-то бедер.

– Срок истек, милочка! – вдруг гаркнул он на всю кофейню, обращаясь к пальме в углу. – Либо даешь, либо пошла вон из истории!

Платон Пантелеймонович обмяк, вытер вспотевший лоб газетой и снова нацепил пенсне.

– Да, – добавил он тихим, благородным баритоном. – Ультиматум – это венец политической мысли.

# Урбанизация

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей хрущевки, благоухая лавандовым одеколоном и благолепием. Взгляд его, исполненный глубокой, почти библейской мудрости, покоился на панораме весеннего Санкт-Петербурга.

«Урбанизация, – благостно размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя шелковый галстук, – есть величайший триумф человеческого радио над хаосом дикой природы».

Он искренне считал себя столпом просвещения и носителем высшей культуры. Его ум занимали глобальные процессы: миграция сельских масс, концентрация производительных сил и неизбежная субурбанизация, превращающая города в могучие агломерации. Все кругом дышало прогрессом, строгостью линий и торжеством цивилизации.

Идиллия растаяла, едва Платон Пантелеймонович вышел на улицу, направляясь к гастроному за докторской колбасой, чтобы подвергнуть ее тщательному органолептическому анализу с бородинским хлебешком и горчичкой.

На перекрестке, где строители возводили очередной безликий небоскреб, асфальтоукладчик резко врубил задний ход. Тяжелая машина с грохотом прыгнула на ухабе, и из кузова сопредельного грузовика прямо к ногам мыслителя с влажным, шлепающим звуком вывалился огромный ку-

сок сырой, жирной глины. Брызги серой жижи веерообразно украсили лакированные туфли Платона Пантелеймоновича.

Он замер, глядя на это грязное пятно, и благопристойная мина мгновенно сползла с его лица.

– Позвольте, – забормотал он вслух, и глаза его дико заблистали. – Ведь это и есть первозданная почва, которую безжалостно закатывает в бетон современный город! Рост городского населения, как известно, требует расширения инфраструктуры. Но к чему ведет этот демографический взрыв и уплотнение застройки? К дефициту свободных пространств! А когда пространства мало, плотность контактов неизбежно растет. Архитектура начинает давить, стены сжимаются, люди трутся друг об друга в душных вагонах метро, как сельди в бочке. И к чему, я вас спрашиваю, ведет эта скученность?

Платон Пантелеймонович хищно огляделся и схватил за рукав проходящего мимо студента в очках.

– Юноша! Поймите причинно-следственную связь! Урбанизация порождает высотную застройку, высотки порождают тесноту, а теснота пробуждает в человеке самые низменные, животные инстинкты! Мужчина и женщина в мегаполисе обречены на постоянное физическое соприкосновение. Вся эта городская среда – просто гигантский, потный инкубатор для похоти! Вы посмотрите на эти новые микрорайоны. Это же не жилье, это сплошной, бесконечный бордель, где за тонкими панельными стенами все только и делают,

что...

Студент испуганно вырвался, но Платона Пантелеймоновича было уже не остановить. Великосветский лоск слетел с него, как старая штукатурка. Он пошел по улице, брызгая слюной и жестикулируя в сторону строительных кранов.

– Да какая там, к черту, субурбанизация! – орал он, обращаясь к испуганной продавщице из овощного ларька. – Посмотрите на эти краны! Они же торчат как... Ну вы поняли! Город прямо изнывает от желания! А бабы городские? В деревне она корову доила, руки в навозе, коса до пояса – скука смертная, никакого полета фантазии. А в городе? Нацепят на себя эти мини-юбки, сядут в свои кредитные малолитражки, губы накачают, как подушки безопасности, и прут толпами по проспектам! И ведь каждая, сучка, мечтает, чтоб ее в этом самом бетоне и зажали!

Он подошел вплотную к забору стройки, тяжело дыша и глядя на рабочих.

– Чего вы там ковыряетесь со своими сваями?! – крикнул он в щель. – Вы же землю насилуете! Город – это одна большая, грязная, ненасытная девка, которая жрет асфальт и требует еще мяса! Все эти ваши урбанистические графики и маятниковые миграции – чушь собачья! Народ прет в города только ради одного: чтоб в темноте парадных, под вой автомобильных сигнализаций, тереться мокрыми телами, срывать друг с друга шмотки и вытворять такое, от чего у деревенских гусей перья повылезают! Все они хотят грязи! Слы-

шите?! Грязи и похоти!

Платон Пантелеймонович вытер рот рукавом дорожного пальто, смачно плюнул в придорожную лужу и, дико ухмыляясь, быстрыми шагами направился в сторону самого густонаселенного спального района.

# Ургентность

Платон Пантелеймонович Похотливый созерцал вечерний бульвар сквозь призму абсолютного интеллектуального превосходства. Весенние сумерки ложились на петербургскую мостовую подобно бархатному плащу византийского императора.

В его мыслях царил строгий неоплатонизм, густо замешанный на гегельянстве. Мир казался Платону Пантелеймоновичу стройной системой чистых категорий. Вокруг проплывали обыватели, обремененные земным тленом. Он же, благообразно поправив пенсне, размышлял о недостижимой гармонии макрокосма.

Внезапно идиллия духа была нарушена грубым проявлением физического бытия. Из дверей районной поликлиники стремительно выбежал мужчина. Он испуганно озирался вокруг, судорожно прижимая к груди медицинский бланк. Гражданин двигался странной, прерывистой трусцой, нервно сжимая кулаки. Его лицо искажала гримаса глубочайшего экзистенциального отчаяния.

Он буквально врезался в мирно стоявшего Платона Пантелеймоновича. Извинившись на бегу сиплым шепотом, незнакомец скрылся за углом. Похотливый брезгливо отряхнул лацкан пальто. На асфальте остался лежать оброненный беглецом лист с четкой латинской надписью в графе «Диа-

ГНОЗ».

Платон Пантелеймонович поднял бумагу и впился в нее взором истинного исследователя. На бланке значилось: «Ургентное состояние». Обыватель испугался бы грозного слова, но Похотливый сразу развернул в уме монументальную лекцию.

Ургентность – это высшая точка биологической и социальной необходимости. Данный термин происходит от латинского слова *urgens*, что означает «неотложный» или «настоятельный». В клинической практике это состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства. Секундное промедление здесь грозит катастрофой для всего организма.

Ургентными называют острые аппендициты, прободные язвы и массивные кровотечения. В таких ситуациях врачи действуют на пределе возможностей, ведь счет идет на минуты. Это чистая, рафинированная экстренность, не терпящая компромиссов, отлагательств и сантиментов. Общество держится на институтах ургентной помощи, спасающих плоть от внезапного распада.

Платон Пантелеймонович сладострастно зажмурился, перекатывая в уме корень слова. Логическая цепь в его сознании замкнулась с пугающей быстротой. Ургентность. Острая необходимость. Неотложность. Ну конечно же!

– Ведь что есть женщина в своей глубинной сути, если не вечный источник ургентной катастрофы? – пробормотал он

вслух, и его интеллигентное лицо подернулось маслянистой судорогой. – Обыватели думают, что баба – это про стихи и прогулки под луной. Чушь! Чистая ургентность. Вот возьмем, к примеру, Любку с третьего этажа. Стоит ей подмигнуть у мусоропровода – и все, тушите свет, у меня внутри начинается такой аппендицит, что кровь кипит. Тут уже не до Гегеля, ей подавай мясной укол прямо сейчас. Это штурм, это пожар, где надо действовать без промедления, пока она теплая и согласная.

Пенсне Платона Пантелеймоновича сползло на кончик носа, обнажив мутный, хищный взгляд. Высокопарный тон улетучивался с каждым словом, уступая место хриплому шепоту.

– Какая к черту медицина? Самая ургентная штука на земле – это когда у бабы юбка трещит по швам от напора, а у тебя в кармане всего сто рублей и полная готовность к грехопадению. Там счет идет на секунды, как в реанимации. Не успел завалить на диван – все, пиши пропало, упустил момент, начался некроз желаний. Настоящая баба – она же как карета скорой помощи. Сирена орет, фары горят, тормоза отказывают, а внутри – сплошное мясо, пот и дикий, первобытный стон. И ты летишь туда без наркоза, голый, злой, готовый рвать этот ургентный узел зубами, пока простыни не затрещат!

Платон Пантелеймонович внезапно осекся. Из темноты переулка на него шло трое крепких мужчин в кожаных курт-

ках, явно искавших, чем поживиться у запоздалых прохожих. Ситуация мгновенно перешла в разряд критических. Сердце Похотливого ушло в пятки, а латынь окончательно выветрилась из мыслей. Поняв, что сейчас начнется самое настоящее, физиологическое и крайне неотложное потрошение его карманов, он позабыл и о бабах, и о Гегеле.

– Мужики, не надо, у меня ургентная диарея от страха начнется! – истошно взвизгнул он, роняя пенсне прямо в грязную лужу.

Подхватив полы щегольского пальто, диванный философ припустил по лужам со скоростью испуганного зайца. Настоящая, невыдуманная ургентность оказалась куда прозаичнее Любки с третьего этажа.

# Утилитарность

Весенний Санкт-Петербург кутался в благопристойный туман. Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна кофейни, скрестив пальцы на набалдашнике трости. Взгляд его, исполненный высшего гуманитарного сострадания, покоился на прохожих.

Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации. Мир казался ему стройным классическим храмом. Каждое явление имело свой строгий философский базис. Настоящий интеллеktуал обязан видеть суть вещей, а не их внешнюю шелуху.

Внимание его привлек дворник, уныло соскребавший мокрый снег со ступеней. Этот грубый труд навел Платона Пантелеймоновича на глубокие думы о великой доктрине утилитаризма. Он мысленно воспарил к Иеремии Бентаму. Полезность – вот единственный критерий нравственности. Действие верно, если оно ведет к наибольшему счастью наибольшего числа людей.

Общество – это просто сумма индивидов. Чтобы оценить поступок, нужно просто математически взвесить приносимое им удовольствие и страдание. Чистый прагматизм. Никакой пустой метафизики. Дворник совершает полезный акт. Чистые ступени уменьшают страдание падающих граждан. Это умножает общее благо. Как все благородно, как чисто,

как логически безупречно.

В этот момент тишину кофейни нарушил резкий звук. Официантка, несшая поднос, зацепилась юбкой за край дубового стола. Стекланный графин с грохотом разлетелся на мелкие осколки. Вода хлынула на лакированные туфли сонного господина в углу.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Философский купол в его голове дал трещину. Мысли стремительно покатались вниз по наклонной плоскости.

Утилитарность, верно. Оцениваем по плодам. Юбка зацепилась. А почему юбка? Потому что бабья натура устроена вопреки любому общественному благу. Какая тут, к черту, польза для человечества? От них одно членовредительство и убытки. Вот взять эту девку. Вместо того чтобы приносить максимальное удовольствие максимальному числу мужчин, она бьет посуду.

А ведь Бентам писал про баланс наслаждения. Какое наслаждение от мокрых штанов этого господина? Никакого. А все потому, что бабы не понимают истинной утилитарности. Они используют свои объемы не по назначению. Природа дала бабе формы для чего? Для прямой, ядерной эксплуатации. Чтобы мужик пришел, взял свое и получил чистый прирост счастья в гормональном эквиваленте. Это же чистая математика.

Платон Пантелеймонович задышал чаще. Лицо его пошло красными пятнами. Он подошел ближе к испуганной офи-

циантке, плотоядно прищурился и заговорил сиплым шепотом, брызгая слюной:

– Ты, милочка, концепцию полезности нарушаешь. Твоя полезная площадь сейчас простаивает. А должна работать на износ. Мужика что надо для минимизации страдания? Правильно. Чтобы ты юбку эту дурацкую задрала, облокотилась на этот самый стол, где графин разбился, и выдала ему пучок плотского удовольствия. Прямо здесь, без лишних нежностей. Настоящий утилитаризм – это когда твоя корма служит общему благу, а не посуду бьет. Понимаешь своей пустой головой? Измеримый суккулентный оргазм на единицу времени. Вот высшая мораль. Хватит тряпкой махать, иди сюда, покажи свою утилитарную пригодность. Порадуй честного трудягу-философа, послужи обществу своей сочной изнанкой.

Официантка взвизгнула и бросила в Платона Пантелеймоновича грязную тряпку. Трудяга-философ увернулся, довольно крикнул и потер руки. Его личный утилитарный баланс в этот момент определенно ушел в плюс.

# Фамильяр

В затишье старинного петербургского сквера, среди чинных лип и благообразных старушек, Платон Пантелеймонович Похотливый являл собой образец высшего гуманизма.

Облеченный в строгий костюм, он созерцал весеннее пробуждение природы с благочестивой миной философа, постигшего тщету бытия. В его изысканном сознании роились образы Канта, чистой прелести и небесной гармонии. Мир казался ему стройной симфонией, где каждый листик шептал о вечном, а сам Платон Пантелеймонович мнил себя строгим хранителем морали, далеким от низменной суеты.

Вдруг на дорожку перед скамьей выбежал облезлый черный кот, а за ним – полная дама с растрепанным томиком средневековых хроник. Дама истошно закричала: «Куда же ты, чертяка, опять к девкам понесся!»

Платон Пантелеймонович вскинул брови. Слово зацепило его утонченный ум.

«Чертяка... – высокопарно подумал Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Как часто обыватели используют сакральные термины, не понимая их глубинной сути. Ведь в средневековых процессах над ведьмами этот "чертяка" именовался фамильяром. Какое глубокое, сакральное понятие. Ведь демонология учит нас: фамильяр – это не просто домашний зверь. Это дух, магический спутник, принимающий

облик кошки, жабы или собаки. Он даруется ведьме самим дьяволом для колдовских услуг, шпионажа и варки зелий. Он сосет кровь из тайных ведьминских отметин. Чистая метафизика потустороннего соития душ!»

Но тут логика Платона Пантелеймоновича сделала резкий, привычный кульбит.

– Позвольте, – зашептал он уже вслух, и глаза его масляно заблестели. – Зачем бабе в темные века нужен кот? Чтобы колдовать? Чушь. Баба колдует одним своим существованием. Если фамильяр живет у бабы и преданно служит ее капризам, то кто истинный прототип этого существа? Какая к черту кошка? Это же вылитый мужчина в когтях у похотливой юбки! Любая бабища мечтает завести себе такого карманного беса. Сначала она прикидывается невинной овечкой, а потом – бац! – и ты уже ее личный домашний черт. Хвост поджал и таскаешь ей тапки.

Стиль мыслителя стремительно терял благородный лоск. Внутренний Кант капитулировал перед навязчивым зудом.

– Да они все ведьмы, – бормотал Платон Пантелеймонович, брызгая слюной на лакированный туфель. – Кормят тебя борщом, как приворотным зельем, а сами ждут, когда ты перед ними на задних лапах ходить начнешь. И ладно бы просто ходить! Им же подавай регулярное исполнение бесовского долга. Сидит такая кобыла на диване, zenки вылупит и ждет, когда ты, ее верный кобель-фамильяр, начнешь прыгать вокруг ее юбки. А не прыгаешь – сразу когти в ход, ши-

пение, скандал и лишение сладкого. Жизнь с бабой – это чистая чертовщина, где из тебя высасывают все соки, покруче любого средневекового упыря. Тьфу, прости господи, опять довели до греха своими кошками!

Окончательно захлебнувшись слюной, Платон Пантелеймонович вскочил со скамьи, сорвал шляпу и, дико вращая глазами, бросился вдогонку за колыхающейся кормой матроны. Он бежал размашистой рысью, на ходу расстегивая ширинку и истошно вопя на весь сквер: «Гражданка, постойте! Я как ученый обязан лично проинспектировать ваши ведьминские отметины! У меня и прибор наготове!»

# Фанаберия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на веранде кофейни, кутаясь в безупречное кашемировое пальто. Вокруг царила весенняя нега, но мысли его витали в сферах исключительно надмирных. Он созерцал прохожих с выражением глубокой, почти скорбной мудрости подлинного аристократа духа.

– Нация измельчала, – беззвучно шевелил губами Платон Пантелеймонович. – Повсюду торжествует фанаберия. Куда ни глянь – спесь, чванство и пустое высокомерие.

Слово «фанаберия» Платон Пантелеймонович обожал. Он считал долгом чести нести это знание в массы. Фанаберия – это спесивость, дурацкая гордость, глупое зазнайство, свойственное людям ничтожным, но мнящим себя пупами земли. Происходит оно от польского *fanaberia*, что означает каприз или фортель. Это не просто гордость. Это надменность без малейшего на то основания.

Именно эта спесивая фанаберия, по мнению Платона Пантелеймоновича, губила геополитику, экономику и культуру. Вон идет чиновник – чистая фанаберия в дорогом галстуке. Вон шествует студент – фанаберия юношеская, необоснованная.

В этот момент благочестивых размышлений пухлая ворона, сидевшая на ветке липы, шумно испражнилась прямо на

лакированный носок туфли Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Взгляд его из философского сделался стеклянным. Механизм внутри его черепной коробки со щелчком переключился.

– Ха, – вслух произнес Платон Пантелеймонович, обращаясь к соседнему столику, где бледная девица пила матчу. – Видали? Вот вам и наглядная метафора. Птица. Тварь бессловесная, а туда же – задрала хвост. Чистейшая биологическая фанаберия. Спесь! Думает, раз крылья есть, так можно сверху на честного эрудита гадить? Это ведь как в политике. Вот взять, к примеру, западный мир. Зазнались. Забыли корни. А почему? Да потому что бабы у них испортились.

Девица с матчей испуганно моргнула. Платон Пантелеймонович подался вперед, его благородный баритон начал стремительно хрипеть и проседать в регистрах.

– Вы не смотрите, что я про птиц. Логика-то железная. Фанаберия эта ихняя, высокомерие бабское – оно же от недотраха вселенского идет. Вот идет девка по улице, нос кверху, жопой крутит – фанаберия! Думает, королева. А на деле – обычная телка, которой просто нормального мужика в когтях не хватало. Кочевряжатся, сучки, губы надуют, строят из себя недотрог, мать их, институток, а сами только и ждут, чтоб их в подворотне к забору прижали.

Стиль Платона Пантелеймоновича окончательно потерял кашемировый лоск. Лицо его покраснело, узел галстука съехал набок.

– Насосутся своей матчи, ёпта, вывесят жопы в этих своих лосинах и думают, что поймали бога за бороду. Спесь! Чистая польская фанаберия, едрить ее в корень. Да любая из этих фиф, которая сейчас в офисе сидит и из себя директрису корчит, мечтает, чтоб пришел нормальный кабан, схватил за шкварник, кинул на диван невымытый и оттарабанил как надо, без всей этой вашей прелюдии и цитирования Канта! Вся мировая история – это просто бабы, которые зажали свою драгоценность и набивают цену. Вот и ворона эта – стопудово самка. Сука пернатая. Нагадила и сидит, коза, ждет, что я перед ней прыгать буду. Да я таких ешкиных кошек насквозь вижу! Все они одинаковые, когда юбку задерешь – одна сплошная мокрая фанаберия, мляха-муха...

Девушка за соседним столиком с тихим писком бросила деньги на стол и бросилась наутек. Платон Пантелеймонович победоносно посмотрел ей вслед, вытер ладонью слюну с подбородка, бережно достал из кармана влажную салфетку и принялся брезгливо оттирать туфлю, возвращая лицу выражение скорбной, надмирной мудрости.

# Феминизм

Платон Пантелеймонович Похотливый нес свое драгоценное тело сквозь весеннюю изморось с достоинством римского сенатора. В его утренних мыслях колыхались судьбы мироздания. Он созерцал серый петербургский пейзаж сквозь призму гегельянства.

«Мир есть лишь объективация абсолютного духа», – благостно размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. Вокруг копошились обыватели. Они были мелки, суетны и не причастны к горным высям чистой науки.

На трамвайной остановке Платон Пантелеймонович изящным жестом пропустил вперед даму. Он мысленно похвалил себя за образцовую куртуазность. Внутри вагона пахло мокрой шерстью. Наш герой ухватился за поручень. Он приготовился препарировать взглядом социальные контрасты эпохи.

Напротив него сидела студентка с тяжелым томом в руках. На обложке крупным шрифтом было выведено: «История феминизма: от суфражисток до наших дней». Девушка подчеркивала что-то желтым маркером.

Платон Пантелеймонович благосклонно заглянул в книгу. Его интеллектуальный аппарат мгновенно пришел в движение.

– Феминизм, – негромко, но веско произнес он в про-

странство, обращаясь сразу к студентке, толстой кондукторше и двум засыпающим рабочим. – Какое глубокое, монументальное явление. Эмансипация – это естественный шаг эволюции духа. Вспомним первую волну. Рубеж девятнадцатого и двадцатого веков. Борьба за избирательное право. Женщины требовали политического голоса. Они хотели юридического равенства. Олимпия де Гуж, Мэри Уолстонкрафт. Великие умы. Вторая волна – середины двадцатого века. Симона де Бовуар. Разделение на биологический пол и социальный гендер. Борьба против патриархального угнетения в семье. Против репродуктивного насилия. Это же чистый марксизм в плоскости полов. Изменение базиса для перестройки надстройки.

Девушка с маркером удивленно подняла глаза. Платон Пантелеймонович вдохновился. Его голос окреп.

– Посмотрите на третью волну. Деконструкция бинарности. Интерсексуальный подход. Учет расы, класса, сексуальной ориентации. Феминизм учит нас, что женщина – это не просто объект для украшения мужского быта. Она – самостоятельный субъект истории. Исторически мужчина узурпировал право на власть, культуру и... и вот тут мы подходим к самому главному, милочка. К сути. К телу.

Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно масляно блеснули. Шляпа съехала набок.

– Ведь почему они боролись за шорты и отказ от корсетов? Потому что бабе, если по-честному, неудобно в корсе-

те на четвереньках стоять. Ползи к ней, к этой эмансипированной, а она в кринолине – ни подойти, ни ухватить за филейную часть. Тьфу, недоразумение одно, а не прогресс. Вот эти суффражистки, думаешь, зачем в тюрьмах голодали? Им просто нормального мужика не хватало, чтоб отжарил как следует, до хруста в пояснице. Вся эта их борьба за права – это от недотраха хронического, я тебе как философ мирового уровня говорю.

Студентка вздрогнула и вжалась в сиденье. Пассажиры начали оборачиваться. Но Платона Пантелеймоновича было уже не остановить. Из приличного профессурообразного петербуржца стремительно вылуплялся дворовый сатир.

– Ишь, права им подавай. Вторая волна у них, Симона де Бовуар. Да эта Симона просто не видела, как Сартр ее подруг на кухонном столе зажимал, пока она там свои трактаты строчила. Равенство в труде? Отлично. Пусть теперь эти бабы тоже срочную служат и у доменных печей корячатся, а потом приходят домой, потные, вонючие, скидывают сапожищи, а там – ноги немытые. И ты ее такую, рабочую кобылу, к стенке прижимаешь, юбку ей на голову – хоп. Она орет про харассмент, а сама аж течет от удовольствия, сучка драная. Вот тебе и весь интерсексуальный подход.

Платон Пантелеймонович брызгал слюной. Он хватал руками воздух, имитируя непристойные движения. От былой элегантности не осталось и следа.

– Третья волна, бодипозитив. Придумали, бляха, оправ-

дание, чтоб волосатые ноги не брить и жрать в три горла. Приведешь такую тушу домой, она развалится как пельмень, целлюлитом трясет, а ты ковыряйся в этих складках, ищи, где там у нее инклюзивность зарыта. Да любая баба, хоть с дипломом, хоть с плакатом, только и мечтает, чтоб ее по заднице шлепнули посильнее, да в угол зажали, чтоб аж дух вон. Вся эта политкорректность – хрень полная, пока у бабы матка горит, ей не избирательный бюллетень нужен, а кое-что потверже. Но полная порнография началась уже в четвертую волну, когда...

Трамвай резко затормозил. Платон Пантелеймонович не удержался и полетел лицом прямо в колени бодипозитивной кондукторше. Вагон замер в гробовой тишине.

## Феминитив

В кондитерской «Амбир» Платон Пантелеймонович Похотливый отбывал повинность – созерцал несовершенство мироздания. Прижав два породистых пальца к виску, он смотрел на петербургскую улицу с брезгливостью человека, которому вместо чистой логики подсунули грязную лужу.

Платон Пантелеймонович искренне считал себя духовным надзирателем эпохи: его волновали падение нравов в Париже, засуха в Африке и то, что официант подал десертную вилку не с той стороны. Общество вокруг благодушно чаевничало, не подозревая, что под этим великолепным фасадом мыслителя скрывается самый позорный, пучеглазый бес.

Тишину разорвал резкий голос молодой барышни за соседним столом. Она горячо доказывала спутнику: «Я в первую очередь авторка и редакторка, а не просто исполнитель!»

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «авторка» ударило его по накрахмаленному воротничку. В его черепной коробке мгновенно закрутились шестеренки изоощренной, сугубо личной логики. Он шумно вздохнул и обратился к сидевшему напротив приятелю, изначально планируя прочесть лекцию о чистоте великого и могучего языка.

– Ты только вслушайся в этот филологический пассаж,

милейший, – начал он тягучим, бархатным баритоном. – Феминитивы. Суффиксы «-к-», «-ин-», «-эсс-». Общество пытается маркировать гендер в лингвистическом поле. Они думают, что суффикс «-ка» в слове «авторка» или «директорка» – это инструмент эмансипации и дань уважения правам женщин. Наивные! Ведь язык – это живая плоть. Вот взять, к примеру, суффикс «-ин-». Доктор – докторша? Нет, докторша – это жена доктора, старая традиция. А если мы берем «богиня»? Тут уже пахнет чем-то сакральным. Но нынешние девки лепят «-ка» куда попало. И зачем? Чтобы подчеркнуть свою обособленность. А ведь любая обособленность бабы, если зреть в самый корень, сводится к одному. К ее физиологии, черт меня дер!

Голос Платона Пантелеймоновича стал заметно тише, а спина потеряла былую аристократическую прямоту. Он подался вперед, обдав приятеля запахом дорогого парфюма и дешевого возбуждения.

– Вот скажи мне, зачем бабе зваться «режиссеркой»? Да потому что суффикс этот, кругленький такой, упругий, сразу напоминает о формах! Они же все спят и видят, как привлечь внимание к своим станкам. Нацепят эти свои феминитивы, как кружевные трусы, и думают, что они в искусстве. Какая она, к лешему, «блогерка»? Она обычная девка, у которой зуд в одном месте. Весь этот их лингвистический бунт – просто завуалированный призыв к спариванию. Они просто хотят, чтобы мы, мужики, смотрели не на их тексты, а

на то, как у них юбка на бедрах трещит, когда они эти слова выговаривают.

Платон Пантелеймонович окончательно потерял человеческий облик. Глаза его замаслились, галстук съехал набок, а изысканные метафоры сменились хриплым кабацким шепотом.

– Да ладно тебе, цензура, культура... Хрен там! Сами эти «авторки» только и ждут, чтоб их прижали где-нибудь в темном углу редакции. Пишет она статью, а сама думает, как бы поудачнее изогнуться перед главным редактором на кожаном диване. Все эти их «-эссы» и «-ини» – просто прелюдия к грязному делу. Заведут шарманку про свои права, губы покрасят, сиськи вперед выставят – и давай кочевряжиться. Знаем мы этих поэток, у них все стихи из одного сора растут, не ведая стыда. Тьфу, срам один, а не филология! Обычный бабий гон, завернутый в словарь.

Поставив эту жирную точку, Платон Пантелеймонович обессиленно отвалился на спинку дивана, которая предательски и очень громко скрипнула, симитировав неприличный звук.

Сам же эрудит смахнул со лба каплю похотливого пота и попытался вернуть лицу выражение вселенской скорби по гибнущей культуре. Получилось лицо человека, который только что единолично сожрал все пирожные в радиусе трех километров и ни капли об этом не жалеет.

# Фертильность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел у окна кофейни, подперев подбородок холеной рукой, и созерцал весенний разлив луж. Мысли его текли плавно, облеченные в безупречные синтаксические конструкции Серебряного века.

Вокруг шумел Санкт-Петербург, пахло цивилизацией, свежей выпечкой и легким креозотом. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах человечества, о падении нравов и о том, как глобальное потепление неумолимо трансформирует геополитическую карту мира, стирая привычные границы между цивилизованным Севером и варварским Югом.

В этот момент за соседний столик опустилась грузная дама в леопардовом пальто. Она с грохотом поставила на мраморную столешницу пакет, из которого с влажным хрустом вывалился гигантский кочан свежей капусты, расколовшийся прямо посередине.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Взгляд его приковался к обнажившейся кочерыжке. В голове эрудита что-то щелкнуло, и неоклассические колонны его разума моментально обрушились в бездну первобытных инстинктов.

– Капуста... – негромко, но веско произнес он в пространство, обращаясь к опешившей даме. – Вот вы, милочка, думаете, что это просто крестоцветный овощ. Жертва агропро-

ма. Но ведь это чистой воды аллегория на репродуктивный потенциал нации! Посмотрите на эти сочные, налитые листья. Они же буквально вопят о фертильности! О способности, матушка, к деторождению, которая у современных баб катится к чертям собачьим из-за дурацких диет и карьерного эгоизма.

Дама попыталась отодвинуть пакет, но Платон Пантелеймонович уже подался вперед, сверкая глазами.

– Вы вообще в курсе, от чего зависит бабья плодovitость? – его голос утратил академический бархат и прибавил в хрипоте. – Все же думают: нацепила юбку покороче, крутанула задом – и готово. Ан нет! Главное – это овариальный резерв. Слыхали такое слово? Это количество яйцеклеток, мадам. Девка рождается уже со своим мешком, там их около миллиона. А к тридцати годам от этого богатства остается пшик, да и те тухнут от курева и феминизма. Вот вы сидите, булку жуετε, а у вас, небось, фолликулостимулирующий гормон уже зашкаливает, сигналиит, что лавочка закрывается! А ведь фертильность – она как весна: вспыхнула и отцвела.

Соседний столик испуганно затих. Платон Пантелеймонович окончательно развязал галстук и перешел на утробный шепот, активно жестикулируя.

– И ладно бы только яйца. А цервикальная слизь? Кто о ней думает, кроме меня? Да никто! А ведь это целая транспортная система, черт меня дерит. Если она густая, как клей, то никакой самый шустрый головастик до цели не доплывет,

завязнет в этой жиже и сдохнет, не солоно хлебавши. Женский организм – это же фабрика, где каждый лютеинизирующий гормон должен херачить по расписанию, как пролетарий у станка! А они вместо этого шампанское глушат и ждут принцев. Тьфу! Сами свой эндометрий истончают до состояния газетного листа, а потом удивляются, почему плодному яйцу зацепиться не за что. Земля должна быть рыхлой, жирной, готовой, понимаете вы?! Чтобы семя упало и сразу пустило корни в это сочное, теплое мясо!

Он грохнул кулаком по столу, отчего чашка с эспрессо подпрыгнула. Дама в леопардовом пальто спешно схватила расколотую капусту и, крестясь, выбежала на улицу.

Оставшись в одиночестве, Платон Пантелеймонович брезгливо отряхнул руки от воображаемой скверны. Лицо его вновь приняло выражение постной великосветской мины. Он аккуратно поправил галстук, отпил остывший кофе и с глубоким удовлетворением подумал, что просветительская миссия интеллигенции в этой Богом забытой стране все еще держится исключительно на его плечах.

# Фетиш

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял на балконе своей квартиры, благоговейно подставив лицо порывам свежего ветра. Его взор, исполненный строгой академической грусти, покоился на шпиле строящегося делового центра.

В этот утренний час Платон Пантелеймонович размышлял о монументальной архитектуре как о высшем проявлении человеческой воли. Он мысленно сопоставлял суровость брутализма с изяществом ранней готики, находя в линиях бетона отголоски кантовского императива. Мир виделся ему грандиозным чертежом, где каждый элемент – от траектории движения облаков до шага подъемного крана – подчинен строгому космическому порядку.

Вдруг порыв ветра усилился. На соседнем балконе, где молодая студентка устроила сушку белья, сорвалась со стальной прищепки и полетела вниз черная шелковая комбинация. Описав в воздухе изящную дугу, ткань зацепилась за ветку старого тополя прямо напротив окон Платона Пантелеймоновича. Следом за ней, кружась словно осенний лист, на асфальт упала тяжелая кожаная перчатка.

Платон Пантелеймонович замер. В его глазах зажегся фанатичный огонь исследователя. Мировая архитектура перестала существовать.

– Невероятно, – глухо произнес он, вцепившись в пери-

ла. – Какое грубое невежество – видеть здесь лишь действие законов аэродинамики. Обыватель скажет: «Упала одежда». Но мыслящий человек сразу узрит здесь манифестацию величайшего феномена – фетишизма. Объективного, всеобъемлющего поклонения неодушевленной материи, которая имеет куда большую власть над мужским естеством, нежели сама женщина!

Он подался вперед, жадно разглядывая колышущийся на ветру шелк.

– Ведь что есть человеческая страсть? Это поиск суррогата. Весь мир охвачен этой сладкой болезнью. Одни несчастные, утонченные эстеты, молятся на текстуру ткани – это текстильный фетишизм. Их сводит с ума шорох шелка, холодный блеск атласа или тяжелый, удушающий бархат. Другие – рабы латекса и резины, ищущие в искусственной коже глянцевою изоляцию от этого серого мира. А третьи – фанатики обуви, ремней и корсетов, готовые целовать бездушный кусок кожи только за то, что он хранит форму человеческого тела! Сама вещь становится идиолом. Живая женщина – лишь вешалка, блеклый посредник между мужчиной и священным куском материи, заряженным чистым эротизмом.

Платон Пантелеймонович шумно и прерывисто задышал. Благородная осанка философа исчезла, уступив место лихорадочной дрожи. Изящный слог полетел к чертям.

– Да в гробу я видел ваш брутализм с готикой! Вы гляньте, как этот шелк на ветру полощется, сука! Он же живой, он же

так и просит, чтоб его зажали в кулаке. А перчатка? Кожаная, черная, потная небось внутри, размякшая от пальцев. Вот она, настоящая дичь! Да я бы сейчас прямо с этого балкона сиганул вниз, плевать на переломы, чтоб эту тряпку к роже прижать. Жрать этот шелк, засунуть его себе в глотку, тереться харей о холодную кожу этой перчатки, пока слюни не потекут! Сидят там в министерствах, планы строят, сухие чертежи малюют, импотенты недоделанные. Да любой мужик за правильный кусок кружева или за пахучий кожаный сапог родину продаст и глазом не моргнет. Весь ваш долбаный прогресс – это просто попытка прикрыть эту дикую, первобытную тягу утыкаться мордой в шмотки и скулить от восторга!

Платон Пантелеймонович дико огляделся, сорвал с себя галстук, судорожно вцепился в него зубами и начал неистово рвать плотную ткань, мыча и капая слюной на парапет.

Тут пластиковое окно соседнего балкона с треском распахнулось, и наружу торопливо вышагнула та самая студентка. На ней была лишь легкая майка на бретельках. Девушка высоко подняла обе руки, потягиваясь к верхней веревке в попытке закрепить оставшееся белье. Платон Пантелеймонович подавился разорванным галстуком и замер, уставившись на открывшуюся его взору анатомическую впадину.

– О, боги, – прохрипел он, и остатки его псевдоинтеллектуального лоска окончательно смыло волной первобытного безумия. – К черту тряпки! Тряпки – лишь прелюдия

к подлинной вершине парциального фетишизма. Какое слепое убожество – смотреть на грудь или бедра, когда природа создала подмышку! Это же священный грааль телесности, сокровенная пазуха плоти. Одни глупцы бредят волосатыми, дикими подмышками, ища в них животный запах первобытной самки. Другие – эстеты-чистюли – жаждут созерцать гладкую, словно фарфор, влажную кожу, пахнущую сладким дезодорантом и свежим девичьим потом после утренней спешки. Это же идеальная анатомическая ловушка!

Похотливый похотливо облизнулся.

– Да я готов прямо сейчас стать ее личным рабом, приползти на коленях, забиться лицом ей подмышку, как пес, и вдыхать этот ядреный, кислый, концентрированный концентрат бабьей жизни, пока не задохнусь к чертям собачьим! Пусть она зажмет мою шею своей мокрой, горячей подмышкой, а я буду жрать этот пот каплями, потому что вся ваша цивилизация не стоит и миллиграмма этой божественной подмышечной соли!

В этот момент студентка резко опустила руки и с брезгливым недоумением посмотрела на соседа, а Платон Пантелеймонович, окончательно потеряв человеческий облик, лишь хрипло крикнул через перила:

– Сударыня, ради всего святого, не брейте хотя бы левую, я уже пишу трактат!

# Фиаско

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кондитерской «Аполлон и Музы». В мыслях его царил абсолютный порядок: там сталкивались тектонические плиты геополитики, вершились судьбы макроэкономики и тихо увядала европейская культура.

Взгляд его покоился на увесистом томике Шопенгауэра, который на поверку оказывался фальш-книгой – полый изнутри шкатулкой-сейфом, куда вместо философских трактатов идеально помещались две чекушки водки для поддержания интеллектуального тонуса.

Похотливый поправил пенсне, мысленно формулируя статью о кризисе перепроизводства и влиянии циклонов на когнитивные способности электората. Окружающий мир казался ему несовершенным, но вполне поддающимся классификации.

Вдруг идиллия разбилась. Молодой официант, спешивший к соседнему столику, споткнулся об ножку стула. Поднос накренился. Изящная чашка с двойным эспрессо с глухим стуком перевернулась прямо на белоснежную скатерть. Черная лужа стремительно расплзлась по полотну.

Какой-то студент в углу заржал и произнес глумливым тоном:

– Это фиаско, братан!

Платон Пантелеймонович, услышав слово «фиаско», шумно вздохнул и поправил пенсне.

– Наблюдайте, господа, – произнес он громогласно, обращаясь к затихшему залу. – Перед нами не просто бытовая неловкость. Это итальянское слово «фиаско», вошедшее в мировые языки, таит в себе глубочайший крах. Изначально во Флоренции так именовали обычную большую бутылку, обтянутую лыком или соломой. Но когда великий мим Доменико Бьянконелли попытался разыграть на сцене пантомиму с такой бутылкой и был освистан публикой, слово стало синонимом полного, позорного крушения надежд. Фиаско – это крах замысла! Разрушение иллюзий!

Он подался вперед, его глаза зловеще заблестели, а голос потерял академический лоск, обретая вязкие, хриплые нотки.

– Понимаете ли вы, к чему я клоню? Вот эта разбитая чашка, эта растекающаяся жижа – точная копия того, что происходит, когда ты приводишь бабу к себе на хату. Ты ей, дуре, полчаса распинаешься про экзистенциализм, наливаешь дешевое полусладкое, рассчитываешь на красивый финал. А у нее в башке – только как бы твой кошелек вытрясти. И тут – бац! Полное фиаско. Оказывается, у нее «эти дни», или голова болит, или кошка рождает. Все твои возвышенные планы летят в помойку, как эта посуда.

Платон Пантелеймонович окончательно расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, обнажая седеющий ворс на груди.

Интеллигентный лоск сполз с него, как старая кожа.

– Да что там говорить, бабы вообще – ходячее фиаско для мужского кармана и нервов. Встречаешься с такой фифой, губы накачаны, юбка еле задницу прикрывает. Думаешь: ну сейчас прижму в подворотне, покажу ей силу купеческую. А она рот открывает – и оттуда несется такой тупняк про ноготочки и бывших, что у тебя даже то, что должно стоять, падает от тоски. Настоящий облом. Сидишь потом, куришь на заплеванном балконе, смотришь на ее потекшую тушь и думаешь: господи, зачем я потратил почти пятьсот рублей на этот кусок мяса? Сплошной провал и срам.

Официант в ужасе выронил тряпку и сбежал на кухню. Платон Пантелеймонович, распалясь от собственного красноречия и выпитых чекушек, залез с ногами на бархатный стул, сорвал галстук и принялся крутить им над головой, как лассо.

Окончательно позабыв Шопенгауэра, он перешел на чистый площадной мат, обвиняя в фиаско своей молодости погоду, правительство и лично официантку Нинку, которая тридцать лет назад не дала ему за гаражами, из-за чего вся мировая геополитика теперь катится к чертям.

Зал стремительно пустел, посетители швыряли купюры и лезли в окна, лишь бы не слушать про заплеванный балкон и купеческую силу. Ворвавшийся по вызову наряд полиции скрутил Платона Пантелеймоновича прямо на стуле, где тот уже демонстрировал на пальцах размеры женского

коварства.

Даже утыкаясь небритой щекой в кофейную лужу под тяжелым берцем сержанта, философ торжествующе хрипел в паркет, что данный арест – неопровержимое свидетельство тотального торжества матриархата над свободной мыслью.

# Фидбэк

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на веранде кофейни «АристократЪ». Майское петербургское солнце ласкало его благородную залысину, а в чашке дымился изысканный флэт-уайт.

Мир вокруг казался Платону Пантелеймоновичу стройной симфонией духа. Глядя на прохожих, он размышлял о судьбах цивилизации, кризисе неолиберализма и тонкой диалектике Гегеля. Вокруг него витал дух истинного просвещения и рафинированных манер.

«Человечество, – думал Похотливый, поправляя пенсне, – погрязло в суете. Глобальное потепление, дефицит бюджета, падение нравов... Все это – лишь следствие неумения слушать космос».

Идиллия разрушилась внезапно. Официант, суетливый юноша с блокнотом, случайно задел чашкой край стола. Кофе выплеснулся на белоснежную скатерть. Юноша испуганно замер, а затем быстро затараторил:

– Ой, простите великодушно! Я сейчас все исправлю! Надеюсь, это не отразится на вашем отзыве в нашем приложении. Руководство очень строго следит за фидбэком!

Слово «фидбэк» повисло в воздухе, словно тяжелый удар колокола. Платон Пантелеймонович медленно опустил чашку. Глаза его зловеще блеснули.

– Фидбэк? – переспросил он, и голос его обрел лекторские, бархатные нотки. – Молодой человек, вы хоть понимаете глубинную, сакральную суть этого термина? Фидбэк – это не просто галочки в вашем плебейском смартфоне. Это фундаментальный закон природы. Обратная связь! Реакция системы на раздражитель. Вот взять хотя бы геополитику. Почему ООН – импотентская контора? Да потому что у них фидбэк вялый, как непрожаренный тост! Нет здоровой, сочной реакции на раздражитель. А погода? Вот этот дождь, что собирается на горизонте – это же чистой воды фидбэк атмосферы на наше греховное потепление! Но высшая, абсолютная форма фидбэка манифестирует себя исключительно в отношениях между мужчиной и женщиной.

Официант попятился, но Платон Пантелеймонович уже поймал кураж. Он подался вперед, а его изысканный тон начал стремительно грубеть, обнажая истинную суть его натуры.

– Вот взять бабу, – Платон Пантелеймонович хлопнул ладонью по столу, пенсне съехало набок. – Ты ей, допустим, задвигаешь про Канта, а сам лапаешь за ляжку под столом. И ждешь фидбэка! Какого? Да бабского, нутряного! Если она прыщит как мышь и коленки сжимает – это фидбэк отрицательный, незачет. А если зенки затуманились, ноздри раздулись, и она дышит тебе в ухо, как полковая лошадь – вот это, брат, качественная обратная связь! Сразу понимаешь: сигнал дошел до адресата, система готова к употреблению.

Официант сглотнул и попытался уйти, но Похотливый перегородил ему путь рукой. Стиль мыслителя окончательно скатился в канаву.

– Ты думаешь, фидбэк – это вежливо «спасибо» сказать? Ни хрена! Настоящий фидбэк – это когда ты ее прижал в темном коридоре у туалета, а она тебя ногтями по хребтине хрясь! До крови, до мяса! Вот это я понимаю – отзыв о проделанной работе. Сразу видно уровень сервиса. Или когда ты ей всю ночь присупониваешь, а наутро она тебе вместо завтрака выдает: «Маловато будет, Платоша, халтуришь». Это жесткий фидбэк, критический! Приходится проводить работу над ошибками, менять тактику, поддавать газку, чтоб кости трескали. Без этого баба засыхает, как герань без полива. Ей нужен ор, пот и конкретное действие, а не твои кофейные сопли! Понял ты, прыщ, что такое обратная связь?!

Официант дико икнул, выронил блокнот прямо в лужу разлитого кофе и с животным ужасом удрал на кухню, забарикадировав дверь шваброй. Платон Пантелеймонович победоносно крикнул, смачно утерся рукавом пиджака и похозяйски закинул ноги на соседний стул.

Вернув на багровый нос пенсне, он благостно зажмурился на весеннее солнце. В его просветленной голове монолитом стоял вывод: лекция по теории коммуникации удалась на славу, а юнец ушел не с какими-то там чаевыми, а с мощнейшим интеллектуальным багажом, который круто изменит его серую жизнь.



# Фидуция

Платон Пантелеймонович Похотливый напоминал благородного дореволюционного пингвина, волею судеб заброшенного в современный общепит.

Намертво зажав между коленями портфель с трудами немецких классиков, он буравил чашку эспresso взглядом глубокого аналитика, ищущего во всем двойное дно. Его пенсне сидело на переносице с вызывающей дерзостью, как бы заявляя, что этот человек видит устройство мироздания насквозь – вплоть до молекул и полной духовной нищеты окружающих.

В этот момент за соседний столик присел молодой человек в строгом костюме. Он открыл ноутбук и громко произнес в телефонную трубку:

– Нам нужно срочно оформить фидуцию на этот пакет акций, иначе сделка сорвется.

Слово «фидуция» ударило Платона Пантелеймоновича прямо в центр его воспаленного интеллекта. Он резко повернулся к незнакомцу, его глаза сверкнули зловещим блеском старого сатира.

– Юноша! – громогласно начал Платон Пантелеймонович, оставив Спинозу. – Как отрадно слышать, что молодое поколение помнит основы римского права! Фидуция! Проще говоря – фидуциарная сделка. Это же чистейший акт доверия,

юноша. Латинское *fiducia* – верность, упование. Один субъект, фидуциант, передает свое имущество или права другому – фидуциарию. И передает не просто так, а на честном слове, для управления или в качестве залога. Фидуциарий становится юридическим собственником, но связан моральным долгом вернуть все обратно, как только цель будет достигнута. Понимаете ли вы глубинную суть этого юридического курьеза? Это абсолютная, обнаженная зависимость одного человека от порядочности другого!

Платон Пантелеймонович подался вперед, его приличный облик начал стремительно осыпаться, как сухая штукатурка. Голос снизился до доверительного сипения.

– Вот вы, юноша, оформляете акции. А ведь вся наша жизнь – это сплошная бабская фидуция. Возьмем мою бывшую. Ты ей, дура, доверяешь самое ценное, что у тебя есть – свою жилплощадь, заначку в носке и, прости господи, душевный покой. Ты становишься фидуциантом. Переписываешь на нее, условно говоря, права владения своим телом и кошельком. И что делает эта фидуциарная кобыла? Она забирает твои активы в полное юридическое пользование! Ты думаешь, она будет управлять ими в твоих интересах? Черта с два!

Лицо Похотливого покраснело, пенсне съехало набок, а высокопарный слог окончательно уступил место привокальной прямоте.

– Эта шкура берет твою фидуцию, садится на нее сверху и

начинает крутить твоей собственностью, как цыган солнцем. Ты ей доверился, как римский патриций, а она ночью тащит в твою квартиру какого-нибудь прыщавого фидуциария из фитнес-клуба. И они на твоём диване, купленном в рассрочку, растрачивают твои последние резервные фонды! Ты прибегаешь, орешь: «Где моя верность?! Где честное слово?!» А она тебе в морду тычет юридическим фактом владения и посылает по матери. Бабам вообще нельзя доверять управление имуществом, у них же вместо римского права в башке одни шмотки и хахали. Сделка изначально провальная, юноша! Любая баба – это неблагонадежный агент, который оберет тебя до трусов и оставит сосать лапу под дождем!

Сосед по столику ретировался со скоростью напуганного зайца, оставив Платона Пантелеймоновича наедине с его бушующими гормонами. Похотливый тяжело отдувался, утирая пот с шеи обрывком чьего-то кассового чека.

С трудом затолкав обратно в брюки выбившийся подол рубахи, он вдруг замер. Взгляд его снова просветлел, плечи распрямились, а лицо приняло вид святого великомученика. Он изящно пододвинул к себе Спинозу и томным голосом крикнул официантке:

– Дитя мое, повторите кофий выдающемуся мыслителю современности!

# Физиогномика

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, скрестив изящные ноги, и сквозь пенсне созерцал несовершенство бытия. Вокруг витал дух буржуазного благополучия: звенели фарфоровые чашечки, пахло корицей, а за соседним столиком приличные дамы, словно застрявшие в Серебряном веке, обсуждали благотворительный базар.

Платон Пантелеймонович мысленно парил в эмпиреях, размышляя о фатуме, детерминизме и тонкой душевной организации человека, которая, как известно истинным мудрецам, целиком и полностью отпечатана на челе его.

Благолепие разрушил вошедший господин с крайне примечательным лицом. Он сел у окна, подставив профиль солнцу.

Платон Пантелеймонович восторгнулся. Настало время применить великую науку – физиогномику, способную обнажить скрытые пороки и добродетели любого смертного. Он устремил на незнакомца строгий, почти научный взор.

– Взгляните на эту форму черепа, – тихо прошептал Платон Пантелеймонович, обращаясь к чашке ристретто. – Очевидная платицефалия. Плоское темя всегда выдает натуру приземленную, лишенную тяги к высшей философии. А надбровные дуги? Нависающие, массивные. Сие есть неопровержимый маркер упрямства, граничащего с глупостью. Ве-

ликий Иоганн Каспар Лафатер в своих трактатах прямо указывал: человек с таким костным рельефом не способен к тонким чувствам.

Он сделал глоток и продолжил внутренний анализ, сверяя черты лица незнакомца с канонами древней науки.

– Обратимся к носу, – глаз Платона Пантелеймоновича лихорадочно заблестел. – Мясистый, картофелевидный, с широкими, раздувающимися ноздрями. Физиогномика учит: такие ноздри – признак необузданного гнева и страсти к кревоугодию. А ушные раковины? Маленькие, без выраженной мочки, прижатые к черепу. Лафатер бы содрогнулся! Это же классическое ухо дегенерата и вора. Глаза мелкие, глубоко посаженные, так называемый «свиной глаз». Человек с такими глазами постоянно замышляет подлость. Нижняя челюсть тяжелая, выдвинутая вперед – явный прогнатизм, свидетельствующий о звериных инстинктах и отсутствии морального тормоза.

Платон Пантелеймонович заерзал на стуле. Логическая цепь в его сознании ковалась быстро и беспощадно. Если у этого господина звериные инстинкты из-за челюсти, значит, он руководствуется исключительно похотью. Раз у него раздутые ноздри, значит, он ищет, где бы унюхать женский шлейф.

– Да-да, – бормотал Похотливый, и его благолепие начало стремительно осыпаться, как дешевая штукатурка. – Звериные инстинкты. А где инстинкты, там бабы. Этот тип явно

шляется по кабакам. С такой-то рожей только девок за юбки хватать в подворотнях. У него же на лбу написано, что он бабу за косу – и в койку.

Голос Платона Пантелеймоновича стал тише, хриплее, а изысканный слог начал растворяться в мутном потоке личной одержимости. Пенсне съехало набок.

– Посмотрите на его губы, – слюна брызнула на скатерть. – Толстые, синюшные, слюнявые губищи. Ими только сиську мять в грязном притоне. Этот боров сто процентов всю получку спускает на портовых девок. Приходит к ним, смердит перегаром, валит на матрас, набитый тухлой соломой, и давай огульно лапать за все жирные места. Свиные глазки-то как масляно блестят! Небось представляет сейчас, как содрать рейтузы с какой-нибудь рыночной торговли. Хватъ ее за ляжки цепкими лапами вора – уши-то, уши воровские! И пошел насаживать, пока кровать не развалится. Все бабы для него – просто куски мяса, кобылы племенные. Пыхтит, небось, как паровоз, потный, волосатый, пузо к пузу, слюни текут на подушку, а девка под ним только кряхтит да ждет, когда этот хряк физиогномический кончит свое грязное дело.

От яростного шепота Платона Пантелеймоновича задрожала чашка с ристретто. Одержимый анатом так увлекся описанием «хряка», что не заметил, как сам объект подошел со спины. Огромная ладонь с «воровским ухватом» легла Платону на плечо, а густой бас ласково спросил над ухом:

– Слышь, умник, тебе остатки плечи проредить или сразу фасад физиогномический подправить?

# Фикология, альгология

Весеннее петербургское солнце робко золотило лепнину на потолке публичной библиотеки, где Платон Пантелеймонович Похотливый предавался высокому созерцанию.

Окружающий мир казался ему несовершенным черновиком, требующим строгой цензуры и глубокой философской огранки. Проходивший мимо библиотекарь неосторожно уронил на паркет увесистый том с надписью «Жизнь водорослей».

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Взгляд его упал на открывшуюся страницу с гравюрой ламинарии пальчаторасеченной. В голове мыслителя мгновенно шелкнул невидимый тумблер, запуская сложный механизм неоспоримой личной логики.

– Фикология! – громогласно провозгласил Платон Пантелеймонович, обращаясь к испуганной старушке за соседним столом. – Великая наука о водорослях, сокрытая от взоров невежественной толпы! Знаете ли вы, сударыня, что альгология – второе название сего учения – делит этих тварей на отделы с поразительной точностью? Люди глупы. Они смотрят на геополитику, на падение курса акций, а суть бытия кроется в таллومه низших растений. Водоросли – основа всего. Взять хотя бы бурые водоросли, ту же ламинарию или фукус. Они крепятся к каменистому грунту специальными ризои-

дами. Намертво крепятся, понимаете? Как ненасытная баба цепляется ногтями в спину податливого кавалера в душной хрущевке после третьей бутылки дешевого портвейна.

Старушка судорожно сжала в руках ридикюль. Платон Пантелеймонович, чей голос уже утратил академическую томность, подался вперед. Глаза его зловеще заблестели.

– Вы только вдумайтесь в этот цинизм природы! Водоросли не имеют корней, стеблей и листьев. Одно сплошное, слизистое, податливое слоевище. Хламидомонада – это же чистой воды одноклеточная распутница. Носится в грязной луже, крутит своими жгутиками, увлекает, ищет, с кем бы слиться в экстазе изогамии. Да-да, у них там половой процесс, между прочим! Сплошной беспорядочный блуд в пресном водоеме. А спирогира? Эта зеленая тина, которая затягивает приличные пруды. Вы видели ее под микроскопом? Нити! Длинные, путанные нити, как небритые ноги гражданки с первого этажа, которая вечно выносит мусор в засаленном халате на голое тело и строит глазки местным алкашам.

Слушатели замерли. Пожилая библиограф попыталась призвать оратора к тишине, но Платон Пантелеймонович уже летел в бездну своего истинного призвания. Стиль его окончательно растерял петербургский лоск.

– А красные водоросли, багрянки? Порфира, родимения... Живут на такой глубине, куда свет почти не доходит. Там темно, сыро и пахнет тухлой рыбой. Самое то для их непристойных дел. У них же вообще сперматозоиды лишены жгутиков!

Представляете эту убогую картину? Неподвижные мужские клетки тупо болтаются в воде, надеясь, что их случайно прибьет течением к женскому органу – карпогону. Да это же вылитый Васька-сантехник! Лежит пьяный на диване, разинув рот, и ждет, когда Лизка сама на него набросится, пока муж на смене в депо.

Похотливый поправил пенсне и продолжил:

– А как они размножаются в этих подводных зарослях? О, там творится такое непотребство, что любой портовый пригон покажется институтом благородных девиц. Слизистые, мокрые гаметы трутся друг об друга в темноте, выделяют феромоны, устраивают массовую оргию прямо на коралловом рифе. Природа – это просто огромная, потная, незаправленная кровать, где сопливая зеленая жижа только и думает, как бы половчее спариться до наступления холодов!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытер взмокший лоб рукавом поношенного пиджака и победоносно обвел взглядом притихший зал. Из угла послышался глухой обморочный стук – это свалилась со стула впечатлительная студентка педвуза. Пожилая библиограф, багровея лицом, яростно нажала тревожную кнопку под столом, крича на всю библиотеку:

– Степаныч, бросай кроссворд, тут какой-то маньяк-альголог бесчинствует!

# Филактерия

Платон Пантелеймонович Похотливый нес свою просвещенную плоть сквозь весенний бульвар с грацией груженого теологией дредноута. Причалив к кофейному столику, он укротил воротничок-стойку и устремил на толпу взгляд человека, лично редактировавшего Ветхий Завет.

В его черепной коробке, свободной от мелких обывательских дум, величественно курсировали мысли о крахе гуманизма, сакральных пропорциях византийских апсид и фатальной необразованности прохожих, путающих Канта с кондуктором.

Насладившись своим чувством превосходства над толпой, Платон Пантелеймонович достал из портфеля книгу по истории древних культов. Одну из страниц украшала гравюра с изображением средневекового иудейского мудреца. На лбу и на левой руке старца были закреплены маленькие черные коробочки из окрашенной кожи копытных животных, удерживаемые длинными кожаными ремнями.

– Филактерия... – благоговейно прошептал Платон Пантелеймонович, пробуя слово на вкус. – Какая глубина духа! Тфилин, если говорить на иврите. Люди несведущие думают, что это просто кожаные кубики. Но ведь внутри них – пергаментные свитки с отрывками из Торы! Четыре священных текста, написанных вручную безупречным почерком ас-

сирийского письма. Это же абсолютный фокус концентрации разума на божественном законе. Кожа должна быть только от чистого животного, ни единого зазора, идеальный квадрат. Верхняя коробочка на лоб – как символ обуздания гордыни и мыслей. Нижняя на руку – ближе к сердцу, дабы умерить плотские порывы.

В этот момент за соседний столик приземлилась дама в пунцовой шляпе. Она с хрустом разломил круассан, и капля жирного крема упала прямо на ее кружевное декольте.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Набожный старец с гравюры мгновенно испарился из его головы.

– Тфилин, говорите? Обуздание порывов? – пробормотал он уже вслух, косясь на сочный круассан и то, что под ним. – Ну да, конечно. Раскатали губу. Сама идея обмотать мужчину ремнями, чтобы он не думал о грехе – это же чистой воды признание капитуляции! Вот взять эти кожаные шнуры. Зачем их наматывать семь раз вокруг предплечья? Да потому что если мужика не связать по рукам и ногам, как брыкающегося кабана, он тут же потащит эту пунцовую шляпу в ближайшие кусты!

Он подался вперед, его благообразный голос прилично снизил регистр, переходя на сиплый шепот.

– Вы только вдумайтесь в эту механику. Коробочка на лбу! Они пытались заколотить дурные мысли досками, как подвал с гнилой картошкой. А мысли-то сверлят! Тексты внутри говорят о преданности, а в башке-то у него в этот

момент – бабы! Жирные, потные, деревенские бабы с подоя-никами. И никакой пергамент из шкуры ягненка не удержит мужика, если у него в паху начинает припекать, как на сковородке. Эти ремни на руке – это же чистый БДСМ древнего мира, суррогат, чтобы хоть как-то перетерпеть зуд!

Соседка со шляпой поперхнулась кофе и испуганно посмотрела на благородного господина. Но Платона Пантелеймоновича было уже не остановить, его несло в глухую, зловонную чащобу физиологии.

– Священный квадрат, говорите? Идеальная форма? Да ладно! Любой мужик знает, что идеальная форма – это круглая бабья задница, а вовсе не кожаный ящик! И вся эта религиозная упряжь придумана только потому, что без нее средневековый обыватель сорвал бы с себя порты и бегал бы за девками по синагоге, оглашая окрестности диким сквернословием. Да и бабы хороши – нацепят кружева, нажрутс булок, сидят, манят своими пазухами, пока у приличного человека в штанах филактерия дыбом встает! Тьфу, сплошной разврат и похоть, прикрытые цитатами!

Он с треском обрушил кулак на столик, пустив кофейную гущу плясать по кружевам испуганной соседки. Тяжело сипя, как перегретый паровоз, Платон Пантелеймонович устался на ее колыхающееся декольте абсолютно дикими, маслеными зенками.

Извилины теолога окончательно закоротило на бабьем мясе: он шумно втянул ноздрями воздух и потянулся к чу-

жому круассану, заставив даму взвизгнуть, швырнуть в него солонкой и с позором бежать из кофейни под раскатистый хохот виновника этого безобразия.

# Филигранность

Платон Пантелеймонович Похотливый нес свою эрудицию сквозь пространство кофейни со страстью миссионера и грацией породистого индюка. Скрестив ноги так плотно, словно охранял главную тайну мироздания, он мысленно дирижировал уличным движением и раздавал оценки министрам иностранных дел.

Мир вокруг казался ему грубой заготовкой, которой катастрофически не хватало лоска. Платон Пантелеймонович хмурил брови и страдал: человечество упорно отказывалось жить по законам высшего пилотажа и тончайшей филигранности.

Филигранность сегодня занимала все его мысли. Это ювелирное понятие он трактовал как вершину цивилизации. Изначально филигрань – от латинских слов *filum* (нить) и *granum* (зерно) – означала древний вид ювелирной техники. Мастер вручную спаивал тончайшую золотую или серебряную проволоку, создавая ажурный, невесомый узор, и украшал его крошечными металлическими шариками-зернами.

Для Платона Пантелеймоновича это слово было синонимом абсолютной точности, ювелирной четкости и высшего пилотажа в любом деле. Филигранным мог быть дипломатический ход, игра пианиста или расчет архитектора. Без этой точности мир, по его мнению, превратился бы в грубую,

неотесанную глыбу.

В этот момент официант, несший поднос к соседнему столу, слегка оступился. Фарфоровая чашка звякнула о блюдец, и капля черного кофе упала на белоснежную скатерть.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его идеальный космос дал трещину. Он пристально посмотрел на кофейное пятно, затем на испуганного юношу-официанта, и шумно вздохнул.

– Вот она, трагедия современности, – произнес он вслух, обращаясь к сидевшей за соседним столом даме. – Полное отсутствие филигранности. А ведь именно ювелирная точность движений отличает истинного мастера от плебея. Посмотрите на эту каплю! Это же геополитический крах в миниатюре. Неверный шаг, отсутствие баланса – и все летит в тартарары. Точность, милочка, нужна во всем. В микронах, в долях секунды.

Дама вежливо улыбнулась и уткнулась в телефон. Но Платона Пантелеймоновича было уже не остановить. Логические шестеренки в его голове завертелись с бешеной скоростью, выстраивая безупречную, как ему казалось, причинно-следственную связь.

– И где же, спросите вы, эта филигранность проявляется ярче всего? – продолжал он, повышая голос. – В маневрах! В умении зайти с фланга, обойти острые углы. Взять хотя бы этих... баб. Да-да, обычных баб, которых вы видите на улицах. Вы думаете, они понимают толк в ажурном плетении

смыслов? Черта с два! Логика у них, скажу я вам, топорная, зато шкура требует ювелирного подхода.

Похотливый отхлебнул какао и продолжил:

– Вот идет, скажем, Зинка из четвертой парадной. Юбка – три сантиметра от пояса, колышется, как знамя революции. Чтобы к такой подкатить и не получить по роже сумкой, нужна филигранность покруче, чем у Фаберже. Тут надо аккуратно, сука, как сапер, прощупывать почву, шептать на ухо всякую высокопарную чушь про звезды, пока ее бдительность засыпает. А как только она растаяла – бац! – и ты уже расстегиваешь этот чертов лифчик сзади. И вот там, между прочим, на этих кружевах китайских, тоже ведь филигранность! Зацепишь не так пальцем – порвешь к чертям собачьим всю конструкцию, и прощай, романтика, начнется ор про испорченные шмотки. А потом следующее испытание – трусы их вонючие в синий цветочек через голову снимай.

Гордо раздув ноздри, маэстро поправил безупречные брюки, под которыми скрывались точно такие же семейники в синий цветочек, какие он только что филигранно обличал.

– Так что вся мировая история, все эти ваши падения империй и кофейные пятна – они исключительно от того, что мужики разучились тонко работать руками в постели, а бабы стали слишком требовательны к качеству предварительных ласк. Без ювелирного тыка, дорогая моя, мы все обречены на экзистенциальный провал и полную деградацию.

Поставив жирную логическую точку, Платон Пантелеймо-

нович замер в ожидании заслуженных оваций. Однако кофейня ответила ему звенящим, как пустой таз, безмолвием. Лишь бородатый хипстер за угловым столиком громко и нервно сглотнул матча-латте. Но тишину нарушил зычный баритон уборщицы со шваброй:

– Слышь, Цицерон, ноги подними, филигранный ты наш, а то щас ведро на твой геополитический костюм опрокину.

Платон Пантелеймонович мгновенно сдулся, поджал ноги и уткнулся в остывшее какао. Его хрупкий космос высшего пилотажа и тонких материй в очередной раз был вероломно растоптан грубой, неотесанной реальностью, не смыслящей в предварительных ласках.

# Филистерство

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел у окна кофейни, поджав губы с видом оскорбленного пророка, учение которого променяли на золотого тельца. Вокруг копошились они – мещане, обыватели, душная толпа. Платон Пантелеймонович презирал филистерство всей своей утонченной душой.

Филистер – это ведь не просто человек без вкуса. Это страшный социальный феномен. Это торжество самодовольного ничтожества, возведенное в абсолют. Филистерство измеряет вселенную исключительно выгодой, кошельком и кухонным уютом. Оно слепо к искусству, глухо к философии и трусливо перед лицом подлинного духа.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.